

## ХОЗЯИН И СОБАКА

### ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗ-ЗА УГЛА

Когда весна и вправду заслуживает наименования лучшей поры года и я рано просыпаюсь под ликующие трели птиц, потому что накануне вовремя лег, я люблю еще до завтрака выйти на воздух, без шляпы погулять по аллее перед домом или пройти в парк — подышать утренней свежестью и хоть немного насладиться ясной чистотой утра, перед тем как уйти с головой в работу. На ступеньках крыльца я останавливаюсь и свищу, свищу две ноты, тонику и кварту вниз, похожие на начало второй темы шубертовской «Неоконченной симфонии», — это сигнал или, если хотите, переложенное на музыку имя из двух слогов. И в то же мгновение, пока я иду к калитке, до меня издали доносится сперва еле слышное, а потом уже громкое и явственное позвякивание, — это жестяной номерок бьется о металлическую отделку ошейника, и, обернувшись, я вижу Баушана, который стремглав огибает дальний угол дома и мчится ко мне во весь опор, словно задавшись целью непременно сбить меня с ног. От напряжения у него отвисла нижняя губа, и зубы сверкают ослепительной белизной в ярком утреннем солнце.

Он примчался из своей конуры, которая устроена с другой стороны дома под полом стоящей на столбах веранды, где, скорее всего, дремал после беспокойно проведенной ночи, пока мой двойной свист не заставил его встрепетаться. Конура закрыта занавесками из дерюги и устлана соломой, отчего в шерсти Баушана, и без того несколько взъерошенной от лежания, и между когтями лап почти всегда торчат соломинки, — зрелище, всякий раз напоминающее мне старого графа Моора, каким я однажды видел его в чрезвычайно натуралистической постановке: он появлялся из башни, где его морили голодом, еле волоча «босые» ноги в розовом трико с торчащей между пальцами соломой. Я невольно становлюсь боком к мчащемуся на меня Баушану — занимаю, так сказать, оборонительную позицию, ибо его очевидное намерение кинуться мне под ноги и повалить на землю неизменно вводит меня в заблуждение. Однако в последнюю секунду, когда Баушан уже, кажется, вот-вот налетит на меня, он вдруг резко тормозит и сворачивает в сторону, что свидетельствует о его умении великолепно владеть как собой, так и своим телом; и тут в полном молчании — Баушан не часто пользуется своим звучным и выразительным голосом — он начинает кружиться вокруг меня в какой-то неистовой приветственной пляске, в которой притоптывания сменяются безумными виляниями не только предназначенного к тому самой природой хвоста, но захватывают в страстном порыве и заднюю часть туловища до ребер, переходят в винтообразные движения всего тела, замысловатые прыжки в воздухе и повороты вокруг собственной оси; но Баушан почему-то упорно пытается скрыть это представление от моего взора, так что, куда бы я ни повернулся, он всегда оказывается за моей спиной. Однако стоит мне только нагнуться и протянуть руку, как Баушан одним прыжком уже подле меня и, прислонившись плечом к моему колену, застыва-

ет, как изваяние; он стоит, прижавшись ко мне всем боком, упершись крепкими лапами в землю, и, запрокинув морду, снизу вверх глядит мне в лицо; в сосредоточенном внимании, с каким он прислушивается к ласковым словам, которые я бормочу, хлопая его по лопатке, чувствуется не меньшая сила страсти, чем в прежних его бурных изъяснениях восторга.

Баушан — короткошерстная немецкая легавая, если отнестись к такому определению не слишком придирчиво, а принять его с должной крупницей юмора, ибо если разобрать Баушана по косточкам, или, как полагается говорить, по статьям, то его вряд ли можно отнести к чистокровным представителям этой породы. Прежде всего, Баушан мал, он, надо прямо сказать, значительно меньше обычных подружейных легавых, и, потом, передние лапы у него чуточку кривоваты, что тоже не вполне соответствует признанному идеалу. Некоторая склонность к «подгрудку», то есть к мешкообразным складкам кожи под шеей, которые придают собачьей осанке особую величавость, чрезвычайно красит Баушана, но и это, с точки зрения ревнителей собаководства, наверное, было бы поставлено ему в упрек, ибо у легавых, насколько мне известно, кожа должна плотно прилегать к шее.

Окрас Баушана очень хорош. По кофейной рубашке у него разбросаны черные пятна. Но местами проглядывают и белые пезинки, почти сплошь покрывающие грудь, живот и лапы, тогда как тупую морду Баушана, кажется, взяли да и окунули в чернила. На широком лбу и прохладных, лопухом, ушах черная и кофейная шерсть сплетаются в причудливый бархатистый узор, но всего забавнее и милее вихор, в который закручивается у него на груди белая псовина, торчащий, словно шип на старинном панцире. Впрочем, пестрота Баушана тоже может показаться «недопустимой» тем, для кого чистота родословной важнее личных качеств, ибо классической легавой, говорят, надлежит быть одноцветной или пегой в крапе, но никак не пятнистой. Однако главным камнем преткновения при формальном подходе к определению породы Баушана служит, конечно, обильная растительность, свисающая у него с уголков верхней губы и с подбородка, которая не без основания может быть названа усами и бородой и составляет, как известно, характерную особенность пинчера или шнауцеля.

Но не все ли равно, легавая или пинчер! Что за красавец и симпатяга Баушан, когда он вот так стоит, прижавшись к моему колену, и снизу вверх глядит на меня с беспредельной преданностью! Лучше всего у него глаза — кроткие и умные, хотя, быть может, слишком выпуклые и потому чуть-чуть стеклянные. Радужная оболочка глаз — каряя, такого же кофейного оттенка, что и шерсть, но из-за отливающего черным, непомерно расширенного зрачка она кажется узеньким колечком, которое тут же переходит в белок.

Прямота и смышленость — а именно эти душевные качества написаны на морде Баушана — свидетельствуют о его нравственном мужестве, а телосложение — о мужестве физическом: выпуклая грудная клетка с четко выступающими под тонкой и эластичной кожей мощными ребрами, подтянутый живот, нервные ноги в сетке сухожилий, крепкие, в комке, лапы — все это говорит об отваге и мужской доблести, говорит о мужицкой охотничьей крови; да, в облике Баушана чувствуется настоящий охотничий пес, и, на мой взгляд, он по праву может называться легавой, хоть и не обязан своим появлением на свет чванливому кровосмесительству; таков примерно смысл сбивчивых и довольно бессвязных слов, которые я говорю Баушану, похлопывая его по плечу.

А он стоит и смотрит, прислушивается к звукам моего голоса, улавливая в убеждающих интонациях явное одобрение своей персоне. И вдруг быстрым движением скидывает голову к самому моему лицу и смыкает в воздухе челюсти, будто хочет от-

кусить мне нос, — пантомима, которая служит, по-видимому, ответом на мои похвалы и всякий раз заставляет меня со смехом отпрыгнуть, к чему Баушан тоже давно привык. Это своего рода воздушный поцелуй, наполовину ласка, наполовину шалость, штука, которую он проделывал еще щенком и не свойственная ни одному из его предшественников. Впрочем, он тут же со смущенно-лукавым видом просит прощения за допущенную вольность, виляет хвостом и смешно пригибает голову. Но вот мы выходим за калитку.

Навстречу нам несется шум, похожий на рокот моря. Дом мой стоит возле быстрой порожистой реки, от которой его отделяет лишь тополевая аллея, обнесённая решеткой полоска газона с молоденькими кленами и насыпная дорога; по обе ее стороны растут огромные осины — великаны, явно подделывающиеся под старые искривленные ветлы; их белый пух к началу июня будто снегом засыпает окрестность. Вверх по реке, в сторону города, саперы проводят занятия по наведению понтонного моста. Стук их тяжелых сапог о доски настила, отрывистые слова команды явственно долетают до нас. С другого берега слышатся заводской шум и грохот: вниз по течению, наискось от нашего дома, раскинулись корпуса большого паровозостроительного завода, который за войну сильно разросся; длинные окна его цехов всю ночь напролет светятся в темноте. Новенькие, отливающие лаком паровозы, проходя испытание, деловито снуют взад и вперед.

Иногда протяжно завоет гудок, какой-то глухой стук время от времени сотрясает воздух, и из множества труб валит дым, но ветер, по счастью, относит его за лес на противоположном берегу, да и вообще-то дым редко переползает через реку на нашу сторону. Так мешаются в полупригородном, полудеревенском уединении этого уголка звуки погруженной в самое себя природы и человеческой деятельности, и надо всем сияет ясноокая свежесть раннего утра.

Обыкновенно я выхожу на прогулку этак в половине восьмого по официальному времени, на самом деле, значит, в половине седьмого. Я иду, заложив руки за спину, по залитой нежарким еще солнцем аллее, которую пересекают длинные тени тополей; реки мне не видно, но я слышу ее вольное мерное течение; тихо шелестят деревья, воздух наполнен неумолчным чириканьем, щебетом, раскатистыми трелями и переливами певчих птиц; во влажной голубизне неба, с востока, летит аэроплан — жесткая механическая птица, направляя свой ничем не стесненный полет над рекой и лесом; гул его сперва усиливается, затем постепенно замирает; а Баушан радуется моими легкими красивыми прыжками через низенькую решетку газона — туда и обратно, туда и обратно. Он прыгает, зная, что доставляет мне удовольствие; ведь я сам обучал его этому, постукивая тросточкой по ограде, и хвалил, когда у него хорошо получалось; вот и теперь он чуть ли не после каждого прыжка подбегает ко мне, ждет, что я скажу ему — какой он молодчина, какой он смелый и ловкий пес, пытается допрыгнуть до моего лица и, когда я его отстраняю, мокрым носом муслит мне ладонь. Кроме того, эти усердные гимнастические упражнения заменяют ему утренний туалет, с их помощью он приглаживает свою взъерошенную шерсть и избавляется от застрявших в ней соломинок старика Моора.

До чего же хорошо после целительной ванны сна и долгого забвения ночи, помолодев телом и очистившись душой, ранним утром выйти на прогулку. Бодро, уверенно взираешь ты на предстоящий день, хоть и медлишь начать его, желая сполна насладиться чудесными, свободными от всяких обязательств и забот минутами между сном и работой, которые достались тебе в награду за примерное поведение. Ты тешишь себя иллюзией, что всегда будешь жить такой вот простой, серьезной, созерцательной жизнью, что всегда будешь волен распоряжаться собой, ибо человек почему-то склонен считать минутное свое состояние — весел он или подавлен, спокоен или

возбужден — за единственно истинное и постоянное и всякое счастливое *ex tempore*\* мысленно возводить в непреложное правило и нерушимый закон, тогда как в действительности он осужден жить по наитию изо дня в день. Вот и веришь, вдыхая утренний воздух, в свою свободу и добродетель, хотя должен бы знать, да, по существу, и знаешь, что мир уже плетет для тебя свои сети и что, скорее «сего, ты уже завтра провалишься в кровати до девяти, потому что накануне развлекался и только в два часа ночи, разгоряченный, захмелевший и взвинченный, удосужился лечь в постель... Пусть так. Но сегодня ты образец благоразумия и внутренней дисциплины и самый подходящий хозяин вот для этого юного охотника, который только что опять перемахнул через ограду газона от радости, что сегодня ты, как видно, предпочитаешь общаться с ним, а не с обитателями того, большого мира.

Мы идем по аллее минут пять до того места, где она перестает быть аллеей и превращается в хаотическое нагромождение крупного щебня, тянущееся вдоль реки; тут мы сворачиваем вправо на засыпанную более мелким щебнем широкую, но пока еще не застроенную улицу, по которой, однако, как и по нашей аллее, проложена велосипедная дорожка; улица эта проходит между расположенными несколько ниже лесистыми участками и упирается в склон горы, замыкающей с востока наш прибрежный район — местожителство Баушана. Немного погодя мы пересекаем еще другую, тоже будущую улицу; выше, возле трамвайной остановки, она сплошь застроена доходными домами, но здесь, ничем не огражденная, идет куда-то через лес и поле; затем мы по отлого спускающейся дорожке попадаем в великолепный парк, разбитый на манер курортных парков, но совершенно безлюдный, как, впрочем, и вся местность в этот ранний час; везде стоят скамейки, покатые дорожки звездробразно сходятся или приводят к площадкам для детских игр, вокруг — зеленые поляны с купами старых, пышно разросшихся деревьев — вязов, буков, лип, серебристых ветел, кроны которых спускаются так низко, что оставляют на виду лишь небольшой кусочек ствола. Я не нарадуюсь на этот тщательно распланированный парк, в котором гуляю, как в собственном поместье. Все здесь продумано до мелочей, вплоть до того, что у посыпанных гравием дорожек, сбегających с отлогих, поросших травой холмов, зацементированы обочины.

Гуща зелени то и дело расступается, открывая взору чудесный вид на белеющую вдаливилу.

Я прохаживаюсь по дорожкам, а Баушан, ошалев от здешнего приволья, носится как полоумный с поляны на поляну таким галопом, что у него даже заносится зад, или же с негодующе-блаженным лаем гоняется за птичкой, которая то ли со страху, то ли затем, чтобы его подразнить, вьется над самым его носом. Но стоит мне сесть на скамейку, как Баушан уже тут как тут и пристраивается у меня в ногах. Ибо для моего четвероногого друга непреложный закон — бегать, когда я нахожусь в движении; и садиться, когда я сажусь. Надобности в этом никакой нет, но Баушан твердо следует этому правилу.

Мне и странно, и уютно, и забавно ощущать на ноге тепло его разгоряченного тела. Как и всегда почти, когда я бываю с Баушаном и гляжу на него, радостное умиление спирает мне грудь. Он и сидит-то по-крестьянски — лопатки наружу, ступни внутрь. В этой позе он кажется более приземистым и неуклюжим, чем на самом деле, а белый клочок шерсти на груди выпирает совсем уж нелепо и смешно. Зато, взглянув на его важно поднятую голову, никто не осмелится обвинить его в неумении держать себя — столько в ней настороженного внимания... Мы притихли, и сразу же нас обступила тишина. Шум реки едва сюда долетает. И потому любой самый слабый шорох и движение вокруг становятся особенно слышны и привлекают внимание: вот в траве

\* Букв.: «вне времени» (лат.); здесь употреблено в значении необычайного происшествия, нарушающего привычный порядок вещей.

прошуршала ящерица, вот пискнула птаха, где-то поблизости роется крот. Уши Баушана подняты, насколько это позволяет мускулатура висячих ушей, голова, чтобы лучше слышать, наклонена набок, и ноздри влажного черного носа, втягивая все запахи, находятся в беспрестанном трепетном движении.

Потом он ложится, но так, чтобы все-таки касаться моей ноги. Он лежит в профиль ко мне, в древней, как мир, симметричной позе полуидола-полузверя, сфинкса с поднятой головой и грудью, прижатых к туловищу локтями и бедрами и вытянутыми вперед лапами. Но ему жарко, он открывает пасть, — и сразу же вся непроницаемая мудрость его облика исчезает, и он становится самым обыкновенным псом: глаза моргают и суживаются, а из-за крепких белых клыков вываливается длинный розово-красный язык.

## КАК НАМ ДОСТАЛСЯ БАУШАН

Сосватала нам Баушана плотная, не лишенная приятности, черноглазая фрейлейн, которая с помощью рослой и такой же черноглазой дочки содержала пансион в горах неподалеку от Тёльца. Это случилось два года назад, и Баушан был тогда полугодовалым подростком-щенком. Анастасия — так звали хозяйку пансиона — знала, что мы вынуждены были пристрелить нашу шотландскую овчарку Перси — слабоумного пса-аристократа, который в преклонном возрасте подхватил очень прилипчивую и противную накожную болезнь, — и с того самого дня нуждаемся в стороже. Она позвонила нам из своего горного домика и сообщила, что приняла на постой и на комиссию собаку, лучше которой и желать нечего, и что мы можем в любое время прийти ее посмотреть.

Уступив настояниям детей, — впрочем, нас, взрослых, тоже разбирало любопытство, — мы на следующий же день после обеда отправились в горы.

Анастасию мы застали в просторной кухне, наполненной теплыми и сытными запахами; покрасневшая и потная, с расстегнутым воротом и обнаженными по локоть округлыми руками, она готовила ужин своим постояльцам. Дочь со спокойной расторопностью подавала ей все нужное, для стряпни. Нас приветливо встретили и не преминули похвалить за то, что мы явились без проволоочки. Заметив, что мы озираемся по сторонам; дочь хозяйки, Рези, подвела нас к кухонному столу, уперлась руками в колени и, склонив голову, адресовала несколько ласковых слов кому-то под столом. Оказывается, там, привязанное обрывком грязной веревки, стояло существо, которое в полумраке кухни, освещенной только отблесками огня, мы сначала не заметили и вид которого поневоле вызывал улыбку жалости.

Оно стояло, поджав хвост, сгорбившись и сдвинув все четыре тонкие, подгибающиеся от слабости лапы, и тряслось. Возможно, оно тряслось от страха, но скорее всего от полного отсутствия каких-либо жировых или мускульных тканей, ибо это был форменный скелет — ребрышки и позвоночник, обтянутые облезлой шкурой, на четырех палочках. Уши у него были плотно прижаты — положение, которое способно сразу же погасить всякий признак живости и ума в физиономии собаки, а в его совсем еще щенячьей мордочке столь полно достигало этого эффекта, что она выражала одну только глупость, страдание и мольбу о снисхождении; к тому же усы и борода, и поныне украшающие Баушана, в ту пору были куда более пышными и придавали его и без того жалкому облику еще и оттенок угрюмой подавленности.

Все нагнулись, чтобы утешить и приласкать горемыку. И пока дети шумно изъявляли свою жалость, Анастасия, хлопоча у плиты, сообщила нам всю подноготную своего постояльца. Он сын почтенных родителей, и звать его пока что Люкс, степенно

рассказывала она ровным приятным голосом. Мать его она сама знала, а об отце слышала одно только хорошее.

Родом Люкс с фермы в Хюгельфинге, и, если бы не некоторые чрезвычайные обстоятельства, хозяйева никогда бы с ним не расстались; но теперь они вынуждены уступить его за сходную цену, для чего и доставили песика к ней — ведь у нее в доме всегда бывает много народу. Хозяйева приехали в своей тележке, а Люкс все двадцать километров мужественно бежал между задними колесами. Зная, что мы ищем хорошую собаку, она сразу подумала о нас и почти уверена, что мы его возьмем. Тогда все устроится ко всеобщему благополучию. Нам собачка, несомненно, придется по душе, Люкс, со своей стороны, имея теплый угол, уже не будет чувствовать себя таким одиноким и неприкаянным, и она, Анастасия, перестанет беспокоиться за него. Пусть нас только не смущает его понурый и несчастный вид. Его сбила с толку незнакомая обстановка, и он потерял уверенность в себе. Но в скором времени мы поймем, от каких он превосходных родителей.

— Да, но они, по-видимому, не очень-то друг к другу подходили.

— Отчего же, если оба великолепные собаки. — В щенке заложены самые лучшие качества, она, фрейлейн Анастасия, готова за это поручиться. И уютom он не избалован и привык довольствоваться малым, что в нынешние трудные времена тоже весьма существенно. До сих пор он вообще питался одной картофельной шелухой. Лучше всего нам прямо взять его к себе домой на пробу — это нас ровно ни к чему не обяжет. Если окажется, что сердце у нас к нему не лежит, она тут же примет его обратно и вернет нам деньги. Это она может смело пообещать, нисколько не опасаясь, что мы поймем ее на слове. Она достаточно хорошо знает и его и нас — то есть обе стороны, уверена, что мы его полюбим и даже думать не захотим о том, чтобы с ним расстаться.

Она еще долго говорила в том же духе, спокойно, без запинки, с обычной своей приятностью, и вырывавшийся из конфорки огонь, когда она снимала кастрюлю, озярял ее, как пламя волшебного котла. В конце концов она подошла к Люксу и обеими руками открыла ему пасть, чтобы показать нам его великолепные зубы и, еще по каким-то соображениям, его розовое рифленое небо. На поставленный тоном знатока вопрос — чумился ли он? — она с оттенком нетерпения отвечала, что не знает. А уж ростом, заверила она, он со временем наверняка будет с нашего погибшего Перси.

Дети волновались, Анастасия, ободренная настойчивыми упрасиваниями детей, рассыпалась в похвалах собаке, а мы не знали, на что решиться.

Кончилось дело тем, что мы выпросили себе отсрочку на размышление и в тяжелом раздумье побрели в долину, взвешивая все «за» и «против».

Но, как и следовало ожидать, четвероногий горемыка под столом обворожил наших ребят, и хотя мы, взрослые, для вида потешались над их неудачным выбором, но и у нас щемило сердце, и мы понимали, что теперь нам, пожалуй, нелегко будет вытравить из памяти образ бедняги Люкса.

Что ожидает его, если мы от него отвернемся? В какие руки он попадет?

И в нашем воображении уже возникала загадочная и страшная фигура живодера, от гнусного аркана которого Перси некогда спасла рыцарская пуля оружейного мастера и почетное погребение в дальнем углу нашего сада. Лучше бы нам не встречаться с Люксом, не видеть его усатой и бородатой щенячьей мордочки, тогда бы мы не думали об ожидавшей его неизвестной и, быть может, страшной участи; но теперь, когда мы знали о его существовании, на нас как бы ложилась моральная ответственность, от которой мы лишь с трудом, да и то навряд ли, сможем отвертеться. Так вот и вышло, что через два дня мы уже снова взбирались вверх по пологим отрогам Альп к домику Анастасии. Не то чтобы мы твердо решились на покупку, — нет, но мы понимали, что при сложившихся обстоятельствах дело, скорее всего, этим кончится.

На этот раз Анастасия с дочерью сидели друг против друга по обеим концам длинного кухонного стола и пили кофе. А между ними, перед столом, сидел тот, кто носил условное имя Люкса, сидел уже точно так, как сидит теперь: лапами внутрь, по-мужицки вывернув лопатки, а за его истрепанным ошейником красовался букетик полевых цветов, придававший ему празднично-нарядный вид, — ни дать ни взять разрядившийся по случаю воскресенья деревенский щеголь или дружка на крестьянской свадьбе. Младшая фрейлейн, сама выглядевшая очень нарядно в национальном костюме с бархатным лифом на шнуровке, собственноручно продела ему за ошейник этот букет, «по случаю новоселья», как она пояснила. И мать и дочь, по их заверениям, не сомневались в том, что мы придем за нашим Люксом, и придем именно сегодня.

Итак, с самого начала путь к отступлению был отрезан. Анастасия в обычной своей приятной манере поблагодарила нас за десять марок, которые мы ей вручили в качестве платы за Люкса. Было совершенно ясно, что берет она эти деньги больше в наших интересах, чем в своих собственных или же в интересах людей с фермы, и берет с единственной целью придать бедному Люксу в наших глазах какую-то выраженную в цифрах реальную стоимость. Так мы это и поняли и охотно выложили деньги.

Люкса отвязали от ножки стола, конец веревки был вручен мне, и, провожаемая любезными напутствиями и пожеланиями, наша процессия покинула кухню фрейлейн Анастасии.

Не скажу, чтобы почти часовой обратный путь с нашим новым домочадцем представлял собой триумфальное шествие, тем более что деревенский щеголь очень быстро потерял свой нарядный букет. На лицах встречавшихся нам прохожих мы, правда, замечали улыбку, но с каким-то оттенком обидного, пренебрежения, а прохожих попадалось все больше, так как путь наш лежал через рыночную площадь, которую нам предстояло пересечь из конца в конец. В довершение всего у Люкса оказался понос, которым он, вероятно, страдал уже не первый день, что вынуждало нас к частым остановкам на глазах у горожан. Встав в круг, мы, как могли, загораживали несчастного страдальца и с ужасом спрашивали себя, уж не первые ли это зловещие признаки чумки, — опасения, как потом оказалось, совершенно напрасные, ибо будущее показало, что мы имеем дело с натурой исключительно крепкой и здоровой, неуязвимой ни для какой заразы и болезней.

Дома мы позвали горничную и кухарку, чтобы представить им нового члена семьи и заодно уж узнать их мнение. По всему было видно, что они приготовились восхищаться, но, увидев понуро стоявшего Люкса и наши смущенные лица, обе прыгнули со смеху, отвернулись и замахали на него руками. После этого едва ли можно было надеяться, что гуманные соображения, побудившие Анастасию потребовать с нас плату, найдут в них сочувственный отклик, и мы почли за благо сказать, что собаку нам подарили. Люкса отвели на веранду, где ему был предложен праздничный обед, составленный из самых лакомых остатков.

Но он настолько пал духом, что даже ни к чему не притронулся. Он, правда, обнюхивал кусочки, которые ему подсовывали, но тут же боязливо пятился, не в силах поверить, что такая роскошь, как куриные лапки и корки от сыра, в самом деле предназначается ему. Зато от мешка, набитого морской травой, который положили для него в прихожей, он не отказался и сразу же улегся, поджав под себя лапы. А в доме тем временем спорили и наконец порешили, как ему в дальнейшем именоваться.

На следующий день он опять не прикасался к пище, потом, примерно с неделю, жадно и без разбору хватал все, что ему ни подставляли, пока наконец не стал есть со спокойной размеренностью и подобающим достоинством. Постепенно он осваивался и начинал чувствовать себя полноправным членом семьи. Но входить в подробное описание этого длительного процесса нет никакой надобности. Правда, на какое-то

время этот процесс был прерван исчезновением Баушана: дети вывели щенка в сад и отвязали веревку, чтобы дать ему побегать на воле, но не успели они отвернуться, как Баушан подлез под калитку и был таков. Пропажа ввергла в смятение и печаль если не весь дом, то, по крайней мере, господ; прислуга вряд ли приняла близко к сердцу утрату дареной собаки, если вообще сочла это за утрату. Мы задали немало работы телефону, то и дело звоня в пансион к Анастасии, в надежде, что пес прибежит туда. Напрасно, он там не показывался, и только через два дня фрейлейн Анастасия сообщила нам, что ей звонили из Хюгельфинга: полтора часа назад Люкс появился на родимой ферме. Да, он был там, идеализм инстинкта привел его обратно в мир картофельной шелухи, заставив снова проделать те двадцать километров, которые он когда-то пробежал между колесами тележки, в полном одиночестве, в дождь и слякоть! Пришлось его бывшим хозяевам опять запрягать лошадь и трястись двадцать километров в тележке, чтобы доставить Люкса к Анастасии, а через два дня и мы собрались в путь за беглецом, которого нашли, как и в первый раз, привязанным к ножке стола, по уши забрызганного грязью проселочных дорог, истерзанного и усталого. Правда, он сразу узнал нас, завилял хвостом, — словом, всячески выказывал свою радость.

Но в таком случае почему же он сбежал?

Со временем стало ясно, что Баушан выкинул из головы всякую мысль о ферме, но и у нас он еще не окончательно обжился, никто еще не завладел его душой, и он был как листок, крутящийся по воле ветра. В ту пору на прогулках нельзя было ни на секунду спускать с него глаз, ибо ему ничего не стоило бы порвать слабые узы дружбы, связывавшие нас с ним, и улизнуть в лес, где, ведя бродячую жизнь, он бы очень быстро одичал и уподобился своим нецивилизованным предкам. Только наша неусыпная забота спасла его от этой страшной участи и удержала на той высокой ступени культуры, которой он и его сородичи достигли за многие тысячелетия общения с человеком; а потом перемена места, наш переезд в город или, вернее, пригород, немало способствовали тому, чтобы окончательно привязать Баушана к нам и к нашему дому.

## НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ХАРАКТЕРЕ И ОБРАЗЕ ЖИЗНИ БАУШАНА

Один человек из долины Изара предупредил меня, что собаки этой породы часто становятся в тягость хозяину, так как ни на шаг от него не отходят. Поэтому, когда Баушан в скором времени стал действительно выказывать упорную приверженность к моей особе, я остерегся приписать это своим личным достоинствам — так мне было легче сдерживать его порывы и по мере возможности себя от них ограждать. Мы сталкиваемся здесь с наследственным патриархальным инстинктом собаки, который побуждает ее — я говорю, разумеется, не об изнеженных комнатных породах — видеть и почитать в лице главы семьи, мужчины — хозяина, защитника очага и добытчика, находить в преданном и рабском служении ему утверждение собственного достоинства и держаться по отношению ко всем остальным домочадцам с куда большей независимостью. В этом духе и вел себя Баушан со мной почти с первых же дней; как верный оруженосец глядел мне в глаза, дожидаясь приказаний, которые я предпочитал ему не давать, так как очень быстро выяснилось, что он отнюдь не отличается послушанием, и ходил за мною по пятам, очевидно, в полной уверенности, что ему самой природой предназначено неотлучно находиться при мне. Когда вся семья была в сборе, он, разумеется, ложился только у моих ног. Если на прогулке я отдалялся от остальных, он, разумеется, следовал за мной. Он непременно желал находиться возле меня, когда я работал, и, если дверь оказывалась заперта, стре-

нительно вскакивал в окно — при этом гравий сыпался в комнату — и с глубоким вздохом ложился под письменный стол.

Но в нас настолько крепко сидит уважение ко всему живому, что присутствие хотя бы собаки стеснительно, когда хочется побыть одному, вдобавок Баушан мешал мне и самым прямым и непосредственным образом. Он подходил к моему креслу, вилял хвостом, умоляюще смотрел на меня и топтался на месте, требуя, чтобы я его развлекал. Стоило мне хотя бы одним движением откликнуться на его мольбы, как он уже становился лапами на подлокотники кресла, лез ко мне на грудь, смешил меня своими воздушными поцелуями, потом начинал шарить носом по письменному столу, видимо полагая, что раз я так старательно над ним нагибаюсь, то там непременно должно быть что-нибудь съедобное, и, конечно, мял и пачкал мне рукопись своими мохнатыми лапищами. Правда, после строгого окрика «на место!» он ложился и засыпал. Но во сне ему что-то грезилось он быстро-быстро, как на бегу, перебирал всеми четырьмя лапами, издавая глухой и вместе с тем пискливый, чревовещательный и какой-то потусторонний лай. Не мудрено, что это меня волновало и отвлекало от работы; во-первых, мне становилось как-то не по себе, и, во-вторых, меня грызла совесть. Сновидения эти уж слишком явно были суррогатом настоящей гоньбы и охоты, стряпней организма, вынужденного хоть чем-то возместить радость движения на вольном воздухе, которая при совместной жизни со мной выпадала на долю Баушана отнюдь не в той мере, в какой этого требовали его инстинкт и охотничья кровь. Меня это мучило; но так как ничего тут поделать было нельзя, высшие интересы повелевали мне избавиться от вечного источника беспокойства; причем в оправдание себе я говорил, что Баушан в плохую погоду наносит много грязи в комнаты и рвет когтями ковры.

В конце концов Баушану строго-настрога запретили переступать порог дома и находиться со мной, когда я бывал в комнатах, хотя иногда и допускались исключения; он быстро понял, что от него требовали, и покорился противоестественному положению, ибо такова была неисповедимая воля его господина и повелителя. Ведь разлука со мной, нередко, особенно в зимнее время, продолжавшаяся большую часть дня, все-таки только разлука, а не настоящий разрыв или разобщенность. Он не со мной, потому что я так приказал, но это всего лишь выполнение приказа, бытие со мной в его противоположности, и о какой-то самостоятельной жизни Баушана в часы, которые он проводит без меня, вообще не приходится говорить. Правда, сквозь стеклянную дверь кабинета я вижу, как он с неуклюжей шаловливостью доброго дядюшки забавляется с детьми на лужайке перед домом. Но время от времени он непременно подходит к двери и, так как за тюлевой занавеской меня не видно, обнюхивает дверную щель, чтобы удостовериться, там ли я, садится на ступеньки ко мне спиной и ждет. Со своего места за письменным столом мне видно также, как он иногда задумчивой рысцой бежит по насыпной дороге между старыми осинами, но такие прогулки годны лишь на то, чтобы как-то убить время, в них нет самоутверждения, нет радости, нет жизни, и уж совершенно немыслимо себе представить чтобы Баушан вздумал охотиться без меня, хотя никто ему охотиться не запрещает и мое присутствие, как будет видно из дальнейшего, вовсе для этого не обязательно.

Жизнь его начинается, когда я выхожу из дому, — но, увы, и то не всегда! Ведь в то время, как я направляюсь к калитке, еще неизвестно, куда я поверну — направо ли, вниз по аллее к просторам и уединению наших охотничьих угодий, или налево, к трамвайной остановке, чтобы ехать в город, а сопровождать меня Баушану есть смысл только в первом случае.

Вначале он увязывался за мной и тогда, когда я отправлялся в этот суматошный мир, с изумлением взирал на грохочущий трамвай и, поборов страх, самоотверженно

и слепо кидался за мной на забитую людьми площадку. Но взрыв общественного негодования немедленно стогнал его на мостовую, и он скрепя сердце пускался галопом вслед за звенящей и гремящей махиной, несколько не похожей на тележку, между колесами которой он когда-то трусил рысцой. Пока хватало сил и дыхания, Баушан честно старался не отставать. Но бедного деревенщину сбивали с толку городская суматоха и толчея; он попадал проходим под ноги, чужие собаки бросались на него с тыла, вакханалия резких, неведомых дотоле, запахов ударяла ему в нос и кружила голову, углы домов, пропитанные густым ароматом былых любовных интриг, неудержимо влекли его к себе, и он отставал; правда, потом ему удавалось нагнать точно такой же вагон, бегущий по рельсам, но — увы! — это был не тот вагон; Баушан мчался наугад все дальше и дальше, пока окончательно не сбивался с пути; и лишь через два дня, измученный и голодный, являлся наконец, прихрамывая, домой, в тишину виллы на берегу реки, куда тем временем достало благоразумия вернуться и его хозяину.

Это случилось не раз, потом Баушан смирился и больше не провожал меня, когда я поворачивал налево. Лишь только я выхожу за дверь, он уже знает, что у меня на уме: охота или светские развлечения. Он вскакивает с половика, на котором лежал, поджидая меня в тени подъезда, сразу угадав мои намерения по тому, как я одет, какая у меня тросточка, какое выражение лица, по тому, взглянул ли я на него мельком, холодно и деловито, или же, напротив, ласково и дружелюбно. Как тут не понять! Если по всему видно, что прогулка состоится, он кубарем скатывается со ступенек и в немом восторге гарцует впереди меня по направлению к калитке, а если надежды нет, настроение его падает, он никнет, прижимает уши, вид у него становится трагически печальный, а в глазах появляется то робкое, жалковиноватое выражение, которое в несчастье одинаково свойственно и людям и животным.

Иногда, наперекор всему, он отказывается верить, что на сегодня все кончено и охота не состоится. Уж очень ему хотелось погулять! И, обманывая себя, Баушан предпочитает не видеть ни городской тросточки, ни благопристойной сюртучной пары, в которую я облакаюсь ради такого случая. Он проталкивается вместе со мной в калитку, крутится «вокруг собственной оси и, в надежде меня соблазнить, припускается галопом направо по аллее, все время оглядываясь и не желая понять роковое «нет», которым я отвечаю на все его ухищрения. А когда я тем не менее поворачиваю налево, он бежит обратно и, громко сопя, с тонким жалобным присвистом, которого от волнения не в силах сдержать, провожает меня вдоль всего нашего забора; дойдя до решетки прилегающего парка, Баушан начинает прыгать через нее, туда и обратно; решетка эта довольно высокая, и, боясь ободрать себе живот, он всякий раз охает. Прыгает он с отчаяния, из того бесшабашного удалства, которому все нипочем, а в основном, конечно, чтобы меня задобрить и покорить своим усердием. Ведь еще не все потеряно, еще есть надежда, — правда, очень слабая, — что в конце парка я не пойду к трамвайной остановке, а еще раз сверну налево и, сделав небольшой крюк, чтобы опустить письмо в почтовый ящик, все же поведу его в лес. Это хоть и редко, но бывает, а когда и эта последняя надежда рассыпается прахом, Баушан садится на землю и предоставляет мне идти на все четыре стороны.

Так он и сидит посреди дороги в неуклюжей мужицкой позе и смотрит мне вслед, пока я не дохожу до самого конца проспекта. Если я оборачиваюсь, Баушан настораживает уши, но не бежит ко мне, — свистни я или позови его, он все равно не пойдет, он знает, что это бесполезно. Вот и конец аллеи, а Баушан все еще сиротливо сидит посреди дороги — крохотное, темное, нескладное пятнышко, при виде которого у меня всякий раз сжимается сердце, и я сажусь в трамвай, терзаясь угрызениями совести. Как он ждал! И что может быть ужаснее мук ожидания! А ведь вся его жизнь — ожидание прогулки со мной; не успеет он отдохнуть, как уж опять ждет, что я пойду с ним в лес.

Он и ночью ждет, потому что спит Баушан урывками круглые сутки, то часик вздремнет на зеленом ковре лужайки, когда солнце славно припекает спину, то прикорнет за дерюжными занавесками конуры, коротая длинный, ничем не заполненный день. Но зато он не знает и ночного покоя, сон его прерывист и тревожен, он кружит в темноте по двору и саду, бросается туда и сюда и — ждет. Он ждет обхода сторожа с фонарем и, вопреки здравому смыслу, провожает его шаркающие шаги угрожающим и призывным лаем, ждет, когда посветлеет небо, ждет, когда в дальнем садоводстве пропоет петух, ждет, когда утренний ветерок проснется в ветвях и когда отопрут наконец кухонную дверь и он сможет туда прошмыгнуть и погреться у плиты.

И все же, думается мне, ночная пытка скукой для Баушана ничто по сравнению с тем, что он испытывает днем, особенно в хорошую погоду; все равно зимой или летом, когда солнце манит на волю, в каждой жилочке трепещет страстное желание порезвиться и поиграть, а хозяин, без которого прогулкой как следует не насладишься, будто назло, сиднем сидит за своей стеклянной дверью. Подвижное тельце Баушана, в котором с лихорадочной быстротой пульсирует жизнь, отдохнуло досыта, даже до пресыщения, о сне нечего и думать. Он подымается на террасу, подходит к моей двери, со вздохом, идущим из самой глубины души, растягивается на полу, кладет голову на вытянутые лапы и обращает страдальческий взор к небу. Но, впрочем, роль мученика он выдерживает секунды две-три, не более. Что бы такое предпринять? Может, спуститься по ступенькам к пирамидальным туям, что стоят по обе стороны куртины с розами, и поднять ногу — на ту, что справа, которая из-за дурной привычки Баушана каждый год засыхает, так что вместо нее приходится подсаживать новую? И так, он спускается вниз и делает то, в чем не испытывает ни малейшей нужды, но что может хоть на время рассеять его и занять. Долго стоит он на трех ногах, несмотря на явную бесплодность своих усилий, так долго, что четвертая нога у него начинает дрожать, и Баушан вынужден подпрыгивать, чтобы сохранить равновесие. Потом он опять становится на все четыре лапы, но, что ни делай, все равно ему не легче. Тупо глядит он вверх, в сплетенные ветви ясеней, где, весело щебеча, гоняются друг за дружкой две птички, и, когда они стрелой улетают, проводив их долгим взглядом, отворачивается, будто пожимая плечами и дивясь такой ребяческой беспечности. Затем он начинает потягиваться так, что трещат все суставы, обстоятельности ради разделяя эту операцию на две части: сначала он вытягивает передние ноги, высоко вскидывая зад, потом вытягивает задние ноги и оба раза зверски зевает во всю пасть. Но вот и с этим покончено, как ни старался он продлить удовольствие, а если уж ты потянулся по всем правилам, сразу опять не потянешься. Баушан стоит и в мрачном раздумье смотрит в землю. Наконец медленно и осторожно он начинает кружиться на месте, будто собираясь лечь, но еще не зная наверняка, как лучше к этому приступить. Тут, однако, его осеняет новая мысль: ленивой походкой он идет на середину лужайки — и вдруг диким, почти бешеным броском кидается на землю и давай кататься по зеленому бобрику подстриженного газона, который щекочет и охлаждает ему спину. Такое занятие, вероятно, сопряжено с чувством острого удовольствия, потому что, катаясь по лужайке, Баушан судорожно поджимает лапы и в пылу упоения и восторга хватается зубами воздух. Да, потому он и пьет до дна кубок наслаждения, что знает, сколь это счастье недолговечно, ведь кататься по траве можно от силы какие-нибудь десять секунд, и за этим наступит не здоровая усталость, служащая наградой настоящей физической работе, а лишь то отрезвление и постылая тоска, которыми мы расплачиваемся за хмель и пьяное беспутство. Несколько мгновений он лежит на боку, закатив глаза, будто мертвый. Затем встает и отряхивается. Отряхивается так, как это умеют только собаки, не рискуя получить сотрясение мозга; отряхивается так, что все у него ходуном ходит, уши шлепаются о подбородок и губы отскакивают от сверкающих бе-

лизной клыков. А дальше? Дальше он стоит неподвижно в полной растерянности посреди лужайки и уж окончательно не знает, чем себя занять. Бедняге остается лишь прибегнуть к крайнему средству. Он подымается на террасу, подходит к застекленной двери и, прижав уши, боязливо и нерешительно, словно нищий, протягивает лапу и скребется в дверь — скребется только раз, да и то совсем тихо; но эта робко и смиренно протянутая лапа, это слабое, не повторяющееся больше царапанье в дверь, на которое он решается, не зная, как себе помочь, переворачивает мне всю душу, и я встаю, чтобы открыть дверь и впустить его к себе, хотя знаю, что к добру это не приведет. И правда, Баушан тотчас принимается скакать и прыгать, призывая меня к более мужественным занятиям, причем сразу же сбивает ковер в сотни складок и переворачивает все в комнате вверх дном, так что прощай и покой и работа.

Посудите же сами, легко ли мне, зная, как ждет меня Баушан, садиться в трамвай, бросив и гнусно предав сиротдивое пятнышко в конце тополевой аллеи! Летом, когда поздно темнеет, беда не велика, есть надежда, что я хоть вечером пойду гулять в лес, и Баушан, прождав меня так долго, все же не останется внакладе и, если ему улыбнется охотничье счастье, еще погоняется за зайцем. Но зимой, когда я после завтрака уезжаю в город, день бесповоротно потеряян, и Баушан должен оставить всякую надежду на целые сутки. Тогда ко времени моей вечерней прогулки уже давно спустились сумерки, в наших охотничьих угодьях стоит непроглядная тьма, и я вынужден направлять свои стопы вверх по реке, по улицам и городским скверам, где сияют газ и электричество, что никак не вяжется с простыми и неприхотливыми наклонностями Баушана; вначале он, правда, сопровождал меня, но вскоре стал отпускать одного, предпочитая оставаться дома. Мало того что там не порезвишься, — его тревожил неестественный полумрак, он пугался прохожих, пугался кустов, с визгом шараялся от взлетевшей пелеринки полицейского, чтобы тут же, с Отвагой, порожденной страхом, кинуться на не менее перепуганного блюстителя порядка, который облегчал душу потоком угроз и ругательств по нашему адресу, — да каких только неприятностей не бывало у нас, когда Баушан сопровождал меня под покровом ночи! Раз уж я упомянул о постовом, мне хочется добавить, что есть три категории людей, которых Баушан совершенно не терпит: это полицейские, монахи и трубочисты. Он ненавидит их всем сердцем и провожает разъяренным лаем всякий раз, как они проходят мимо нашего дома или вообще попадают ему на глаза.

Притом зима, надо прямо сказать, время года, когда светская жизнь особенно дерзко посягает на нашу свободу и добродетель, пора наименее благоприятная для жизни размеренной и собранной, для уединения и тихого раздумья, так что город притягивает меня очень часто еще и вечером, и лишь поздно, в первом часу ночи, последний трамвай по дороге в парк доставляет меня на предпоследнюю свою остановку, а не то я возвращаюсь еще позднее, когда уже никакие трамваи не ходят, возвращаюсь пешком навеселе, с сигаретой в зубах, слишком возбужденный, чтобы чувствовать усталость, во власти той фальшивой беззаботности, при которой море кажется по колено. И вот тут-то мой собственный угол, моя подлинная мирная и тихая жизнь предстанет предо мной в образе Баушана и не только не встречает меня обидами и попреками, но с ликованием приветствует, безмерно радуется и возвращает меня самому себе. В полной темноте, определяя дорогу по шуму реки, я сворачиваю на нашу аллею и едва успеваю пройти несколько шагов, как чувствую вокруг себя какую-то безмолвную возню и движение. Сперва я не понимаю, что происходит. «Баушан?» — спрашиваю я, обращаясь в темноту... Движение и возня усиливаются до предела, переходят в дикую, неистовую пляску — и все это в полном безмолвии, и лишь только я останавливаюсь, честные, хотя и очень мокрые и грязные лапы опускаются на отвороты моего пальто, и у самого лица слышится такое отчаянное сопение и пыхтение, что я поневоле откиды-

ваюсь назад, но все-таки ласково треплю намокшую под дождем и снегом худенькую лопатку... Бедняга ходил меня встречать к трамваю; хорошо изучив все привычки и повадки непутевого своего хозяина, он, когда, по его представлению, подошло время, побежал на трамвайную остановку и ждал там меня — может быть, даже долго ждал, под дождем и снегом, — но в радости, с которой он меня приветствует, когда я наконец возвращаюсь, нет ни злобы, ни обиды на постыдное мое вероломство, а ведь я сегодня покинул его на целый день, и он ждал и надеялся понапрасну. И когда я треплю его по спине, и когда мы вместе идем к дому, я не перестаю его хвалить. Я говорю Баушану, что он поступил прекрасно, и даю самые торжественные обещания на завтрашний день, заверяя его (вернее, самого себя), что уж завтра днем мы непременно и при любой погоде сходим с ним на охоту, и от таких намерений мое светское настроение улетучивается, как дым, ко мне возвращается обычная спокойная серьезность и ясность, а представление о наших охотничьих угодьях и о благодатном их уединении наводит меня на мысль о более высоких, сокровенных и святых обязанностях...

Но я хочу отметить еще некоторые черточки в характере Баушана, с тем чтобы он как живой предстал перед взором благосклонного читателя. Быть может, это всего лучше сделать, сравнив его с нашим безвременно погибшим Перси, ибо вряд ли сыщешь внутри одной и той же родовой группы две столь диаметрально противоположные натуры. Прежде всего следует иметь в виду, что Баушан психически совершенно здоров, тогда как Перси, о чем вскользь уже упоминалось и как нередко случается с собаками-аристократами, был от рождения дурак и кретин, являя собой поучительный пример доведенной до абсурда чистопородности. Об этом уже шла речь в более широкой связи. Здесь достаточно противопоставить истинно народное здравомыслие, отличающее все поведение и поступки Баушана, — например: когда я отправляюсь с ним на прогулку или когда он встречает меня, эмоции его всегда протекают в рамках обыкновенной и здоровой сердечности, без тени какой-либо истерии, меж тем как Перси в аналогичных обстоятельствах подчас вел себя просто возмутительно.

И все же различие двух этих существ не исчерпывается сказанным; в действительности оно противоречивее и сложнее. Баушан хотя и крепок как простолюдин, но как простолюдин чувствителен, тогда как его аристократический предшественник, несмотря на более хрупкую и нежную конституцию, обладал куда более гордой и непреклонной душой и, при всей своей глупости, во многом превосходил деревенщину Баушана в смысле выдержки и самодисциплины. Вовсе не в защиту аристократической догмы, а единственно истины ради указываю я на это смешение противоположностей: здоровья и дряблости, изнеженности и стойкости. Так, например, зимой, в трескучий мороз, Баушану ничего не стоит провести ночь на улице, конечно, на соломенной подстилке и за дерюжными занавесками конуры. Слабость мочевого пузыря не позволяет ему находиться семь часов подряд в закрытом помещении без того, чтобы не проштрафиться, поэтому, полагаясь на железное здоровье Баушана, мы даже в самое неприятное время года не пускаем его в комнаты. И вот всего один лишь раз, после очень уж студеной и туманной ночи, Баушан явился на мой зов не только украшенный инеем, сказочно распушившим ему усы и бороду, но и несколько простуженный, — он по-собачьи сухо и односложно кашлял, — но через несколько часов справился с недугом, и все у него прошло бесследно. Кто бы решился подвергнуть Перси, с его тонкой и шелковистой шерстью, испытаниям подобной ночи? С другой стороны, Баушан до смешного боится всякой, даже пустячной боли и выказывает при этом такое малодушие, что это было бы противно, если бы его простоватая наивность не обезоруживала своим комизмом. Когда в поисках дичи Баушан продирается сквозь частый кустарник, я слышу, как он то и дело громко взвизгивает, — это значит, что он наступил на колючку или его хлестнула по носу ветка. А уж если Баушан, пры-

гая через ограду, упаси Боже, чуточку оцарапает себе живот или подвернет лапу, он испускает душераздирающий вопль не хуже героя античной трагедии, прихрамывая, на трех ногах, спешит ко мне и самым жалким образом скулит и хнычет, — причем хнычет и скулит особенно пронзительно, когда его начинаешь утешать и жалеть, хотя через какие-нибудь четверть часа бегают и скачут, позабыв о своих страданиях.

Иное дело Персиваль. Тот, стиснув зубы, терпел. Плетки он боялся не меньше Баушана, но отведывал ее, к сожалению, чаще, потому что, во-первых, я был тогда моложе и вспыльчивее, а во-вторых, его дурость нередко выражалась в упрямом и злобном своеволии, которое бесило меня и которое невозможно было оставить безнаказанным. Когда, выведенный из себя, я срывал с гвоздя плетку, он, правда, заползал на брюхе под стол или скамейку, но при наказании не издавал ни единой жалобы, разве только тихо застонет, если я уж очень больно хлестну, а дружище Баушан, тот, стоит мне протянуть руку к плетке, уже заранее пищит со страху.

Короче говоря — ни самолюбия, ни выдержки! Впрочем, поведение Баушана редко дает повод к такого рода крайним мерам, поскольку я уже давно отвык требовать от него действий, несовместимых с его натурой, что, конечно, могло бы привести к неприятным столкновениям.

Так, например, я не спрашиваю с него никаких фокусов, да это было бы и бесполезно. Он не ученый, не балаганное чудо, не танцующий на задних лапах дурашливый пудель, он полный энергии юный охотник, а не какой-нибудь профессор. Я уже упоминал о том, что он великолепно прыгает.

Когда нужно, Баушан преодолевает любое препятствие; если оно слишком высоко, чтобы перемахнуть через него обычным прыжком, он подскакивает, цепляется лапами и, подтянувшись, спрыгивает на другую сторону, словом, берет его. Но препятствие должно быть настоящим препятствием, то есть таким, под которое не просунешься и не подлезешь, иначе Баушан счел бы безумием через него прыгать. Стена, ров, решетка, забор без лазеек — вот настоящие препятствия. Прясло в изгороди или протянутая тросточка — не препятствия, а потому незачем через них прыгать и валять дурака, наперекор себе и здравому смыслу. Баушан не желает этого делать.

Сколько я его ни заставлял перепрыгивать через такое воображаемое препятствие — не желает, и баста! Бывало, обозлишься, возьмешь Баушана за загривок и, хоть он и верезжит, перебросишь через жердь, а он, шельмец, еще делает вид, что ты только этого и хотел, и приветствует такое сомнительное достижение прыжками и восхищенным лаем. Можно бить его, ласкать — ничем его не проймешь и не переубедишь: разум Баушана восстает против явной бессмыслицы чистого фокуса. Он вовсе не невежа, он рад угодить хозяину — и не только по собственной охоте, но и по моей просьбе или приказанию с готовностью прыгает через сплошную изгородь и очень бывает доволен, когда я его за это похвалю и приласкаю. А вот через жердь или тросточку он ни за что не прыгнет, а непременно проскочит под нее, хоть ты его убей. Он будет ползать у ног, скулить, молить с пощаде, потому что боится боли, боится, как самый последний трус, но никакой страх и никакая боль не заставят его пойти против внутреннего своего убеждения, хотя физически прыжок через тросточку для него сущий пустяк. Потребовать этого от него не значит ставить перед ним вопрос, будет он прыгать или нет; вопрос предрешен, и приказ может привести только к одному — к порке. Ибо требовать от Баушана непонятного и, по непонятности своей, невыполнимого, с его точки зрения, значит только искать повода к пререканиям, ссоре и порке, которые, по существу, уже заключены в самом требовании. Таково, насколько я понимаю, мнение Баушана на сей счет, причем я отнюдь не уверен, вправе ли мы назвать это упрямством. Упрямство может и должно быть сломлено; Баушан же скорее умрет, нежели станет исполнять какие-то бессмысленные фокусы.

Загадочная душа! Такая близкая и вместе с тем непонятная, а в некоторых проявлениях своих столь чуждая, что слова наши бессильны охватить ее внутреннюю логику. Как, например, объяснить тягостную по своей нервной напряженности и для участников и для свидетелей церемонию встречи и знакомства или хотя бы взаимного ознакомления двух собак?

Сотни раз на прогулках с Баушаном я наблюдал такого рода встречи, вернее сказать, оказывался невольным и растерянным их свидетелем, и всякий раз во время такой сцены обычно понятное мне поведение Баушана оставалось для меня книгой за семью печатями, — при всем сочувствии к нему, мне не удавалось вникнуть в ощущения, законы и родовые обычаи, лежавшие в основе его действий. Поистине нет ничего более мучительного, захватывающего и рокового, чем встреча двух собак на улице; кажется, будто над ними властвуют недобрые чары. Это какая-то связанность — другого слова не подберешь, — они и хотели бы, но не могут пройти мимо друг друга, и замешательство их не знает границ.

Я уж не говорю о таком случае, когда одна из сторон находится взаперти за высоким забором; правда, и тогда нельзя предугадать, как тот и другой поведут себя, но это все же наименее опасная ситуация. Они чувствуют друг друга Бог знает на каком расстоянии, и вдруг Баушан, как бы ища у меня защиты, начинает жаться к моим ногам и скулить, выражая такую бесконечную душевную боль и тоску, какую никакими словами не передашь; меж тем чужая собака за забором подымает свирепый лай, будто бы рьяно охраняя владения хозяев, лай, который, однако, тоже нет-нет да и сбивается на плаксиво-ревнивое и жалобное повизгивание. Мы приближаемся, вот мы уже поравнялись с забором. Чужая собака поджидает нас, она бранится и оплакивает свое бессилие, кидается, как безумная, на забор, всем своим видом показывая (насколько это серьезно, одному Богу известно), что непременно разорвала бы Баушана в клочья, если бы только ей дали волю. Тем не менее Баушан, который преспокойно мог бы остаться рядом со мной и пройти мимо, подходит к забору; он не может иначе поступить, он сделал бы это, даже если бы я ему запретил: пройти мимо — значило бы преступить какие-то внутренние законы, куда более глубокие и нерушимые, чем мой запрет. Итак, он подходит к забору и прежде всего со смиренным и невозмутимым видом совершает жертвоприношение, которое, как ему известно по опыту, должно несколько успокоить и хоть ненадолго умиловить противника, — во всяком случае, на то время, пока он в другом месте, пусть даже рыча и повизгивая, занят тем же делом. Вслед за тем оба пса срываются с места и начинают гоняться вдоль забора, один по одну, другой по другую сторону, не отставая друг от друга ни на шаг и совершенно молча. В конце участка оба одновременно поворачивают и мчатся обратно. И вдруг, на середине, останавливаются как вкопанные, причем уже не боком к забору, а перпендикулярно к нему, и, приставив нос к носу, замирают. Так стоят они довольно долго, чтобы затем продолжать свое странное и ничем не оправданное соревнование в беге, плечом к плечу, вдоль забора. Но вот наконец Баушан, пользуясь своей свободой, удаляется. Какая ужасная минута для запертого пса! Он не может этого вынести, усматривает беспримерную подлость в том, что другой вздумал так вот, ни с того ни с сего, взять да уйти, он рвет и мечет, носится, как безумный, взад и вперед, грозитя перескочить через забор, чтобы расправиться с изменщиком, и шлет ему вдогонку самую страшную ругань и проклятия. Баушан все это слышит и, должно быть, болезненно переживает, о чем свидетельствует его тихий и смущенный вид; но он не оглядывается и не спеша трусит дальше, а оскорбительная брань за нами мало-помалу переходит в повизгивание и затем смолкает.

Так примерно разыгрывается сцена, когда один из ее участников находится взаперти. Однако напряжение достигает предела, когда оба пса на свободе и встреча про-

исходит в равных условиях; даже неприятно это описывать, ибо нет ничего более каверзного, непонятного и удручающего.

Баушан, который только что беззаботно прыгал вокруг, начинает пятиться по-визгивая и скуля, льнет ко мне, и, хотя я затрудняюсь сказать, какие чувства выражают эти идущие из глубины души звуки, они настолько отличны от всех других, что по ним я безошибочно угадываю приближение незнакомого пса. Надо глядеть в оба: так и есть, вон он идет, и еще издали по его нерешительному и напряженному поведению, ясно, что пес тоже заметил Баушана. Мое замешательство, пожалуй, ничуть не меньше; я отнюдь не жажду этого знакомства. «Пошел прочь! — говорю я Баушану. — Что ты вертишься под ногами? Неужели вам нельзя договориться между собой где-нибудь в сторонке?» И я тростью пытаюсь отогнать его, потому что если дело дойдет до драки, что отнюдь не исключено, — независимо от того, понимаю ли я ее причины или нет, — то разыграется она у моих ног, причинив мне совершенно излишние волнения. «Пошел прочь!» — тихо повторяю я. Но Баушан не идет, он весь как-то скован робко жметя ко мне и лишь на минутку отходит к деревцу принести традиционную жертву, причем я вижу, как незнакомец в отдалении приносит свою. Теперь нас разделяют всего каких-нибудь двадцать шагов, напряжение еще возросло. Незнакомец прижался к земле и вытянул голову, точно тигр, готовый к прыжку, и в этой разбойничьей позе поджидает Баушана, явно намереваясь в подходящий момент кинуться на него. Однако ничего подобного не происходит, да и Баушан, по-видимому, этого не ждет; так или иначе, он идет прямо на подстерегающего его хищника, идет, правда, очень нерешительно, скрепя сердце, но все же идет, как пошел бы далее в том случае, если бы я его бросил: свернул на боковую дорожку, предоставив ему самому выпутываться из беды. Сколь ни тягостна ему эта встреча, он не помышляет о том, чтобы уклониться от нее и улизнуть. Он идет будто зачарованный, он связан с другим псом невидимой нитью, оба они связаны между собой невидимыми таинственными нитями, которые не в силах порвать.

Теперь нас разделяет всего два шага.

Тут другой пес тихонько подымается, будто никогда не прикидывался тигром из джунглей, и стоит точно так, как Баушан, — словно оплеванные, не зная, на что решиться и как быть, стоят они друг против друга и не могут разойтись. Они и хотели бы уйти, — недаром же они грустно косятся по сторонам, — но обоих будто придавило сознание общей вины. Напряженно, с хмурой настороженностью, они придвигаются и трутся боками, обнюхивая друг у друга основание хвоста. При этом они обычно начинают урчать, и я, понизив голос, предостерегающе окликаю Баушана, ибо сейчас, сию минуту, должно решиться, произойдет ли драка, или чаша сия меня минует. Но, неизвестно как и еще менее почему, драка завязалась — Баушан и чужая собака сцепились в беспорядочный клубок, из которого вырывается яростное хриплое рычанье и приглушенный визг. Тогда, во избежание несчастья, я начинаю орудовать тростью, хватаю Баушана за ошейник или загривок, чтобы стряхнуть повисшего на нем пса, и делаю еще много такого, отчего у меня долго потом трясутся руки и дрожат колени. Бывает, однако, что после всех приготовлений и церемоний встреча протекает гладко и, сверх ожиданий, кончается ничем. Но даже когда дело обходится без драки, им трудно сойти с места, их все еще крепко связывает какая-то внутренняя нить. Уж кажется, они благополучно разошлись, не топчутся больше бок о бок, а стоят почти на одной линии, — чужая собака, повернувшись в мою, Баушан — в противоположную сторону, — они не глядят друг на друга, почти не поворачивают головы и только уголком глаза, насколько это возможно, следят за тем, что происходит позади. Но, несмотря на отделяющее их теперь расстояние, крепкая и тягостная нить все еще держится, и ни тот, ни другой не знает, наступила ли минута избавления, обоим до смерти хоте-

лось бы уйти, однако какая-то непонятная совестливость их удерживает. Но вот наконец чары развеялись, нить порвалась, и Баушан, словно избавившись от смертельной опасности, с легким сердцем, весело срывается с места.

Я рассказал об этом, чтобы показать, какой чуждой и непонятной кажется мне в иных случаях внутренняя жизнь такого близкого друга: испытывая почти суеверный страх, глядишь и недоумеваешь и скорее чувством, нежели разумом, пытаешься в нее вникнуть. В остальном душевный мир Баушана не представляет для меня тайны, с сочувственной улыбкой разгадываю я смысл его поступков, игру его физиономии, все его поведение. Как знакома мне, например, манера Баушана громко, с визгом зевать, если он разочарован прогулкой, слишком короткой и неудачной в спортивном отношении, что случается, когда, поздно сев за работу, я только перед самым обедом выхожу с ним пройтись и почти тут же поворачиваю обратно. Он идет рядом со мной и зевает. Зевает самым бессовестным и неприличным образом, отчаянно, с визгом, раздирая пасть и принимая оскорбительно-скучающий вид. «Хороший же у меня хозяин! — кажется, говорит этот зевок. — Поздно ночью я ходил встречать его к мосту, а сегодня он засел за своей стеклянной дверью, заставил меня прождать целое утро, хоть подыхай со скуки, а когда наконец удосужился выйти со мной погулять, сразу повернул обратно. Даже нюхнуть дичи не дал. А-а-а-и-й!

Хороший же у меня хозяин! Разве это хозяин! Дрянь, а не хозяин!»

Вот о чем с грубой прямоотой говорят его зевки, — не понять этого нельзя. Я сознаю, что он прав, что я виноват перед ним, и, думая его утешить, протягиваю руку, чтобы похлопать его по плечу или погладить по голове. Но не больно-то он нуждается в моих ласках, он и принимать их не хочет, снова еще более неучтиво зевает и увертывается от моей руки, хотя по натуре, в отличие от Перси и в полном соответствии со своей простонародной чувствительностью, очень любит всякие нежности. Особенно нравится Баушану, когда ему почесывают шею; у него даже выработалась забавная манера подталкивать головой мою руку себе под подбородок. А то, что он не настроен нежничать, помимо разочарования, объясняется еще и тем, что на ходу, точнее говоря, когда я в движении, он не видит в ласках ни прелести, ни смысла. Он пребывает в слишком мужественном расположении духа, чтобы находить в этом вкус. Но стоит мне сесть, как все разом меняется. Баушан всей душой рад любезничать и отвечает на мои ласки даже, я сказал бы, с излишней неуклюже-восторженной навязчивостью.

Как часто, читая на любимой скамейке в укромном уголке сада за выступом стены или, прислонившись спиной к дереву, на траве в лесу, я откладываю книгу, чтобы поговорить и поиграть с Баушаном. Что я ему говорю? Обычно повторяю его имя, то сочетание звуков, которое ему всего ближе, так как обозначает его самого и оказывает на него поэтому магическое действие, — подстегиваю и разжигаю его самомнение, заверяя его на все лады и призывая хорошенько поразмыслить над тем, что его звать Баушан и что именно он и есть это единственное и неповторимое существо; если долго его твердить, его можно довести до состояния экстаза, опьянения собственным «я», в котором Баушан начинает кружиться на месте и от спирающего грудь избытка счастья и гордости, подняв морду, лаять на небо. Или мы еще развлекаемся так: я легонько хлопаю его по носу, а он, щелкая зубами в воздухе, как это делают собаки, ловя мух, притворяется, будто хочет укусить меня за руку. И мы оба смеемся, да, да, Баушан тоже смеется, а я хоть и смеюсь, но это удивительное зрелище трогает меня чуть ли не до слез. В самом деле, нельзя без волнения видеть, как в ответ на шутку уголки рта и по-звериному впалые щеки Баушана начинают вздрагивать и подергиваться, как неразумная морда животного вдруг складывается в гримасу человеческого смеха, и этот смех или, вернее, его тусклый, беспомощный, жалкий отблеск появляется, чтобы тут же исчезнуть, уступив место страху и растерянности, и затем вновь проступить в том же искаженно-карикатурном виде...

Но довольно, я не намерен больше углубляться в частности. Меня и без того смущает, что это краткое описание, помимо моей воли, так разрослось.

Поэтому, не тратя лишних слов, я хочу показать своего героя во всем его блеске, в родной стихии, в той жизненной обстановке, где он наиболее полно бывает самим собой и которая особенно благоприятствует его талантам и наклонностям, а именно на охоте. Но предварительно необходимо хоть сколько-нибудь познакомить читателя с ареной этих радостей — с нашими охотничьими угодьями, местностью у реки, ибо она тесно связана с личностью Баушана, и я сроднился с ней и люблю и ценю ее, пожалуй, не меньше, чем своего четвероногого друга, — пусть же послужит это достаточным основанием для того, чтобы без дальнейших новеллистических мотивировок посвятить этой местности следующую главу.

## УГОДЬЯ

В садах нашего маленького, но широко раскинувшегося поселка, на фоне нежных молодых насаждений, резко выделяются возвышающиеся над крышами домов старые деревья-великаны, в которых безошибочно угадываешь коренных уроженцев этих мест. Они гордость и краса нашей сравнительно молодой колонии, и по мере возможности мы всячески старались сберечь и сохранить их, а в тех случаях, когда при разбивке участков возникал конфликт с одним из этих коренных уроженцев, то есть оказывалось, что такой вот замшелый почтенный дед стоит на меже, забор описывает небольшой полукруг, с тем чтобы включить его в сад, или же в бетоне стены учтиво оставлено свободное пространство, и старик продолжает жить наполовину частной, наполовину общественной жизнью, склоняя голые сучья под тяжестью снега или шелестя своей мелкой, поздно распускающейся листвой.

Великаны эти — ясени, дерево, которое очень любит влагу, что указывает на особенность почвы нашей местности. Только совсем недавно, каких-нибудь полтора десятка лет назад, благодаря человеческой изобретательности здесь стало возможно жить и хоть что-то сажать. А раньше тут была топь и глушь — настоящее комариное царство, где только ивы, карликовые тополя да прочая искривленная и низкорослая древесная мелочь гляделась в стоячие воды болот. Дело в том, что эта полоска земли — плавни; на глубине нескольких метров лежит водонепроницаемый слой, поэтому почва здесь всегда была болотистой и в низинах держалась вода. Осушку произвели, опустив уровень реки, — я мало что смыслю в технике, но, кажется, был применен именно этот прием, — тем самым почвенная вода, которой некуда было просачиваться, получила сток; теперь в реку впадают десятки подземных ручейков, и почва в значительной мере уплотнилась — в значительной мере, потому что когда изучишь местность, как изучили ее мы с Баушаном, то знаешь в зарослях, вниз по реке, немало поросших камышом низинок, сохранивших свой первоначальный вид: укромные уголки, где даже в самый знойный летний день царит влажная прохлада и где приятно посидеть и отдохнуть в жару.

Вообще местность эта весьма своеобразна, и с первого же взгляда чувствуешь, как не похожа она на знакомый нам пейзаж горных рек — с хвойными лесами и мшистыми полянами; даже после того, как ее прибрала к рукам компания по продаже земельных участков, она, повторяю, не утратила своего первоначального своеобразия, и не только в садах, но и повсюду исконная растительность явно преобладает над пришедшей и посаженной. В аллеях и в парке встречаются, правда, дикий каштан, быстрорастущий клен, даже бук и всевозможные декоративные кустарники, но все это не здешнее, а посаженное, так же как и пирамидальные тополя, выстроившиеся в ряд,

точно гренадеры, но бесплодные, несмотря на свою мужественную красоту. Я говорил уже о ясенях, как о дереве-аборигене, — он попадает здесь на каждом шагу и представлен всеми возрастами, от нежной молодой поросли, лезущей прямо из щебня, как сорняк, до могучих столетних великанов; именно ясень вместе с серебристым тополем, осинкой, березой, ивой и тальником придает ландшафту его особый характер. Но все это породы мелколиственные, а мелкость и изящество листвы, особенно на какой-нибудь древесной громадине, сразу бросается в глаза и служит отличительным признаком местности. Исключение составляют только вязы, подставляющие солнцу свои широкие, с пильчатыми краями, блестящие и клейкие с верхней стороны листья, а также множество всяких вьющихся растений, обвивающих стволы более молодых деревьев и смешивающих свою листву с их листвой, так что одну от другой даже трудно отличить. В низинах стройные тоненькие ольхи сбегаются рошицами. Липа, напротив, встречается очень редко, а дуб вовсе отсутствует, так же как и ель. Но по всему восточному склону — граница нашего района, где совсем иная почва и потому иная растительность, — высятся ели. Черные на фоне неба, стоят они, точно стража, и зорко наблюдают сверху за нашей долиной.

От склона холма до реки не больше пятисот метров, я шагами отмерил это расстояние. Вниз по течению прибрежная полоса веерообразно расширяется, но это почти незаметно. Всего-то узенькая полоска, а какое удивительное разнообразие, хотя мы с Баушаном почти никогда далеко не ходим вниз по реке: походы наши, считая путь туда и обратно, в общей сложности занимают часа два, не больше. Постоянная смена впечатлений и возможность бесконечно разнообразить и варьировать прогулки, так что даже при давнем знакомстве с местностью она не приедается и ландшафт не кажется ограниченным, объясняется тем, что она четко разделена на три совершенно несходные между собой области, или зоны, из которых можно выбрать для прогулки какую-нибудь одну или же, пользуясь поперечными тропами, пересечь все три поочередно: с одной стороны — это область реки с примыкающим к ней берегом, с другой — область горного склона, а посередине — область леса.

Наибольшее пространство занимает зона леса, или парка, чащи прибрежных зарослей — не знаю даже, как сказать, чтобы точнее и нагляднее, чем словом «лес», обозначить особую прелесть этого места. Конечно, это вовсе не то, что мы обычно понимаем под словом «лес» — такая просторная зала с гладким полом, устланном мхом и опавшими листьями, и прямыми, ровными колоннами-стволами. Деревья наших охотничьих угодий самого различного возраста и толщины; среди них, особенно вдоль реки, но также и в глубине леса, попадаются настоящие исполины — родоначальники многочисленного племени ив и тополей; есть и возмужалый молодняк десяти-пятнадцати лет и, наконец, легионы тонюсеньких стволиков, посаженные самой природой дикие питомники ясеней, берез, ольхи, которые, однако, отнюдь не выглядят худосочными, потому что, как я уже говорил, их снизу доверху густо опутывают ползучие растения, так что кажется, будто ты попал в тропики. Впрочем, я подозреваю, что эти постояльцы все же задерживают рост приютивших их деревьев, я живу здесь не один год и что-то не замечаю, чтобы стволики стали хоть сколько-нибудь толще.

Деревья тут состоят из немногих родственных пород. Ольха одного семейства с березой, тополь не очень-то в конце концов отличается от ивы!

А все вместе, пожалуй, приближаются к типическим очертаниям этой последней; лесоводам известно, как приспособляются деревья к характеру окружающей местности, не хуже женщин склонны они подражать господствующим линиям и формам. Здесь же господствуют причудливо изломанные формы ивы, верной и постоянной спутницы всяких проточных и стоячих вод. Будто ведьма из сказки, стоит она, протя-

нув вперед руки со скрюченными пальцами, из которых в разные стороны торчат метлы ветвей. Ей-то, должно быть, и пытаются подражать все остальные. Серебристый тополь изгибается точь-в-точь как она, а от тополя, в свою очередь, не сразу отличишь березу, которая, соблазнившись местной модой, принимает порой самые диковинные позы, — хотя это отнюдь не значит, что здесь не встречаются, и в достаточном количестве, очень статные, а при выгодном вечернем освещении попросту обворожительные особи этого милого дерева.

Здесьние края знавали его и серебряным стерженьком, увенчанным редкими, торчащими врозь листиками; и миловидной стройной красавицей с нарядным, белым, как мел, стволом, кокетливо и мечтательно распустившей по плечам зеленые кудри; и старухой поистине слоновидных размеров, со стволом в три обхвата и грубой черной потрескавшейся корой, только вверху еще сохранившей признаки былой белизны...

Почва в этих местах имеет очень мало общего с обычной лесной почвой.

Это галька, глина, а местами чистый песок, так что, казалось бы, ничего на ней расти не может. Однако, в пределах своих возможностей, она необычайно плодородна. Здесь растет высокая трава, напоминающая сухую остролистую траву, что встречается в дюнах, зимой она устилает землю, словно примятое сено, а иногда прямо переходит в тростник; в других местах эта трава, напротив, становится мягкой, густой и пышной и вперемежку с болиголовом, крапивой, мать-и-мачехой, всевозможными ползучими растениями, огромным чертополохом и гибкими молодыми побегами деревьев служит хорошим прибежищем фазанам и другим птицам, любящим ютиться среди шишковатых корней. Из этой зеленой гущины всюду тянутся вверх и обвиваются спиралью вокруг деревьев широколистые гирлянды дикого винограда и хмеля, даже зимой продолжают они лезть к стволам своими жесткими плетями, похожими на тугие веревки.

Нет, это не лес, не парк, а настоящий волшебный сад. Да, волшебный сад, хотя речь идет о природе скудной, убогой и даже в какой-то мере искалеченной, описание которой исчерпывается десятком простейших ботанических названий. Местность то и дело волнообразно подымается и опускается, что и придает такую завершенность, такую глубину и замкнутость пейзажу. Если бы лес здесь тянулся по сторонам на много миль или хотя бы даже вширь на такое же расстояние, как в длину, а не насчитывал какую-то сотню шагов от середины до края, и тогда ощущение уединенности, глуши и оторванности от мира не могло бы быть большим. Только доносящийся с востока мерный шум напоминает о дружеской близости реки, не видной отсюда... Тут есть лощины, сплошь заросшие бузиной, бирючиной, жасмином и черемухой, от аромата которых в паркие июньские дни тяжело дышать. А есть овраги — самые обыкновенные выемки для добычи гравия, — где по склонам и на дне ничего не растет, кроме сухого шалфея да нескольких прутиков ивы.

Хотя я живу здесь несколько лет и каждый день бываю в лесу, все это до сих пор кажется мне необыкновенным и удивительным. Листва ясеней, похожая на гигантские папоротники, вьющиеся растения, тростник, эта сырость и сушь, эта убогая чащоба неизменно волнуют мое воображение; временами мне кажется, будто я перенесся в другую геологическую эру или в подводный мир, кажется, будто я бреду по морскому дну, что, впрочем, не так уж далеко от истины, потому что тут и в самом деле когда-то была вода, — во всяком случае, в тех низинах, которые теперь, в виде прямоугольных полей с посеянными самой природой дикими питомниками ясеня, служат пастбищем овцам; одна такая поляна находится возле самого нашего дома.

Чаща вдоль и поперек изрезана тропинками: иногда это только вьющаяся среди деревьев ленточка примятой травы, иногда дорожка, конечно, не проложенная,

а просто протоптанная, хотя непонятно, кто и когда протоптал ее, потому что мы с Баушаном обычно никого в лесу не встречаем, а уж если, в виде исключения, нам кто-нибудь вдруг попадетсЯ навстречу, спутник мой остановится, недоуменно поглядит на чужака и глухо тЯвкнет, что довольно точно выражает и мое отношение к событию. Даже летом, в погожие воскресные дни, когда к нам на лоно природы из города валят толпы людей (здесь как-никак на несколько градусов прохладнее), по этим стежкам можно бродить, не боясь столкнуться с гуляющими: большинство горожан не знает об их существовании, а кроме того, всех, как полагается, неудержимо тянет к воде, и людской поток движется вдоль берега реки, по каменной каемке, если только она не залита водой, а вечером тем же путем возвращается в город. В лесу наткнешься разве что на юную парочку под кустом, — дерзко и боязливо, как зверьки, выглядывают влюбленные из своего убежища, словно намереваясь, заносчиво спросить нас, уж не возражаем ли мы, что они тут сидят и развлекаются на свободе, — предположение, которое мы молча отвергаем тем, что спешим пройти мимо: Баушан со свойственным ему безразличием ко всему, что не пахнет дичью, а я с каменным и бесстрастным лицом, не выражающим ни одобрения, ни порицания и явно говорящим, что мне до них нет никакого дела.

Но эти тропки не единственные пути сообщения в моем парке. Там есть и улицы — вернее сказать, остатки того, что некогда было улицами, или должно было ими стать, или когда-нибудь, с Божьей помощью, еще станет...

Дело в том, что следы кирки первооткрывателей и необузданной предпринимательской деятельности встречаются далеко за пределами отстроенной части местности — нашего небольшого поселка. В ту пору размахивались широко, строили самые смелые планы. Компания по продаже земельных участков, которая лет десять-пятнадцать назад забрала в свои руки всю прибрежную полосу, затевала нечто куда более грандиозное (в том числе и по части дивидендов), чем потом получилось: не как нынешняя жалкая кучка вилл был задуман наш поселок. Земли под участки хватало с избытком, с добрый километр вниз по реке все было подготовлено, да и сейчас готово к приему любителей оседлого образа жизни и земельных спекулянтов. На заседаниях правления компании утверждались щедрые сметы. Мало того что были укреплены берега реки, устроена набережная, разбит парк, рука цивилизации протянулась и дальше в лес; там корчевали, насыпали гравий, в самой чаще вдоль и поперек прорубали просеки — прекрасно задуманные великолепные улицы или наброски будущих улиц, с обозначенными щебнем, мостовыми и широкими тротуарами для пешеходов, по которым, однако, прохаживаемся только мы с Баушаном; он — на неизносимо-добротных подошвах своих четырех лап, а я — в башмаках, подбитых гвоздями, чтобы не сбить ноги о камень. Да это и понятно, виллы, которым, по замыслам и расчетам компании, давным-давно надлежало красоваться среди зелени, так до сих пор и не построены, и это несмотря на то, что я подал благой пример, поставив себе здесь дом. Прошло уже десять или пятнадцать лет, а этих вилл нет как нет, — не мудрено, что на всем вокруг лежит печать унылого запустения, а компания не желает больше вкладывать деньги и достраивать начатое с таким размахом.

А ведь эти улицы без жителей уже имеют названия, как всякие другие в городе или в предместье; и я бы дорого дал, чтобы узнать, какой это фантазер и глубоко-мысленный эстет из земельных спекулянтов был их крестным отцом. Тут есть улица Геллерта, улица Опица, Флемминга, Бюргера и даже Адальберта Штифтера, по которой я с чувством особой признательности и благоговения прохаживаюсь в своих подбитых гвоздями башмаках. На углах просек поставлены столбы, как это делается на недостроенных окраинных улицах, где нет углового дома, и к ним прибиты таблички с названием: синие эмалевые таблички с белыми литерами. Но, увы, таблички эти

несколько обветшали, — слишком уж давно обозначают они наименование запроектированных улиц, на которых никто не желает селиться, и, может быть, они-то яснее всего и говорят о запустении, банкротстве и застое в делах. Никому до них нет дела, никто их не подкрашивает, от солнца и дождя синяя эмаль облупилась, сквозь белые литеры проступила ржавчина, так что на месте некоторых букв остались либо рыжие пятна, либо просто дыры с противной ржавой бахромой по краям, и название поэтому иногда так искажается, что его и не прочтешь. Помню, когда я только что поселился здесь и начал исследовать окрестности, мне долго пришлось ломать себе голову над одной такой табличкой. Это была на редкость длинная табличка, и слово «улица» сохранилось полностью, зато в самом названии, которое, как я уже говорил, было очень длинным или, вернее, должно было быть длинным, большая часть букв стерлась или же была изъедена ржавчиной: их можно было сосчитать по коричневым пятнам, но разобрать что-либо, кроме половинки «в» в начале, «ш» где-то посередине да еще «а» в конце, не представлялось возможным. Для моих умственных способностей отправных данных оказалось маловато, и я решил, что в этом уравнении слишком много неизвестных. Долго стоял я, задрвав голову и заложив руки за спину, изучая длинную табличку. Потом мы с Баушаном пошли дальше по тротуару. Но хотя я, казалось, думал о других вещах, во мне шла подсознательная работа, мысль моя упорно возвращалась к стертому имени на табличке, и вдруг меня осенило, — я даже остановился с испугу, затем поспешил обратно к столбу, снова уставился на табличку и прикинул. Да, так оно и есть. Оказывается, я бродил не более и не менее, как по улице Вильяма Шекспира.

Таблички под стать улицам, и улицы под стать табличкам — запущенные, погруженные в тихую дремоту. Справа и слева стоит лес, через который улицы эти были прорублены, и лес-то уж не дремлет; он не дает улицам ждать десятилетиями, пока их заселят, он делает все, чтобы снова сомкнуться, — ведь здешняя растительность не боится камня, она давно к нему приспособилась; и вот пурпурный чертополох, голубой шалфей, серебристая верба и нежная зелень молодых ясеней выбиваются из мостовых и даже бесстрашно лезут на тротуары; нет сомнения, что улицы, носящие имена поэтов, зарастают, что лес мало-помалу поглощает их, и, будем ли мы сожалеть о том или радоваться, все равно через десяток лет улицы Опица и Флемминга станут непроходимыми, а скорее всего, просто исчезнут. Сейчас, правда, жаловаться не приходится: с точки зрения живописной и романтической, они в нынешнем своем виде самые прекрасные улицы на свете. Приятно бродить по таким недоделанным улицам, когда ты обут в крепкие башмаки и не чувствуешь под ногами щебня, и глядеть поверх дикой поросли, покрывающей мостовые, на мелкую, будто склеенную теплой влагой, листву, которая обрамляет и замыкает эти улицы со всех сторон. Такую листву писал великий лотарингский пейзажист три века назад... Но что я — такую? Не такую, а эту самую! Он был здесь, он бродил по этим местам и, конечно, прекрасно знал их; и если бы делец-фантазер из правления компании, окрестивший мои лесные улицы, не так строго придерживался рамок литературы, то на одной из проржавевших табличек я мог бы угадать имя Клода Лоррена.

Итак, я описал среднюю, лесную область. Но район восточного склона тоже по своему привлекателен и для меня и для Баушана, и мы, как это будет видно из дальнейшего, отнюдь им не пренебрегаем. Его можно было бы назвать также зоной ручья, потому что именно ручей и придает ландшафту столь идиллический характер и, в мирной безмятежности своих усыпанных незабудками берегов, представляет разительный контраст могучей реке, отдаленный шум которой, при частом у нас западном ветре, хоть и слабо, но долетает сюда. В том месте, где первая из поперечных улиц, наподобие дамбы идущая от тополевой аллеи между полянами и лесными участками по

направлению к склону, упирается в его подножье, слева круто спускается вниз дорога, по которой зимой молодежь катается на санках. Ручей берет свое начало дальше, там, где дорога уже идет по ровной местности, и по его берегу, с правой или с левой стороны, а не то и переходя с одной стороны на другую, вдоль постоянно изменяющего свой облик склона горы, охотно прогуливаются хозяин и собака. Слева — расстилаются луга с разбросанными по ним купами деревьев. Неподалеку виднеются сараи и какие-то постройки крупного садоводства, рядом — пасутся и пощипывают клевер овцы под началом довольно бестолковой девочки в красном платье, которая в упоении властью не своим голосом кричит на них, упершись руками в колени, но втайне ужасно боится большого барана, очень величественного и важного в густой своей шубе, так что тот совсем перестал ее слушаться и делает что хочет. Особенно истошно кричит девочка, когда овцы при появлении Баушана панически разбегаются, что происходит почти всякий раз помимо его воли и желания, ибо Баушану до овец нет никакого дела, он смотрит на них, как на пустое место, и даже старается предотвратить их безумства, проходя мимо с подчеркнутой осторожностью, безразличием и презрительным высокомерием.

Для моего обоняния овцы пахнут достаточно сильно (впрочем, я не сказал бы, что уж так неприятно), но это все-таки не запах дичи, и потому Баушану совсем неинтересно за ними гоняться. И все же достаточно одного его резкого прыжка или даже просто его появления, чтобы стадо, которое за минуту до того мирно паслось, разбредясь по всему пастбищу и блея на все голоса, мгновенно сбилось в кучу и шарахнулось в сторону; а глупая девчонка, низко согнувшись, кричит им вслед так, что у нее срывается голос и глаза вылезают из орбит. Баушан же недоуменно оборачивается ко мне, будто призывая меня в свидетели полной своей непричастности. «Ну скажи, при чем тут я? Ведь, право же, я их не трогал», — выражает все его существо.

Но однажды случилось нечто прямо противоположное, — происшествие, пожалуй, даже более тягостное и, во всяком случае, куда более удивительное, нежели обычная овечья паника. Овца, самый обыкновенный экземпляр своей породы, среднего роста, с заурядной овечьей мордой, но с тонким, приподнятым в уголках, будто улыбающимся, ртом, придававшим этой твари выражение какой-то злобной глупости, по-видимому, не на шутку пленилась Баушаном и увязалась за ним. Она просто за ним пошла, отделилась от стада, бросила загон и молча, идиотски улыбаясь, тащила за ним по пятам. Он сойдет с дороги — и она за ним; он побежит — и она припустится галопом; он остановится — и она тоже станет позади него и загадочно улыбается. Баушан был явно недоволен и смущен; да и в самом деле он попал в дурацкое, я бы сказал, нелепейшее положение, ничего более глупого никогда не случалось ни с ним, ни со мной. Овца уже изрядно удалилась от стада, но это, по-видимому, ее ничуть не тревожило. Она шла следом за обозленным Баушаном, решив, должно быть, никогда с ним больше не разлучаться и, прилепившись к нему, идти за ним хоть на край света. Присмирив, Баушан старался держаться поближе ко мне не столько из страха перед навязчивой особой, — для чего, собственно, не имелось никаких оснований, — сколько от стыда за такой срам. Наконец вся эта история ему, видимо, осточертела, он остановился и, повернув голову, угрожающе зарычал. Тут овца заблеяла, ну совсем как если бы ехидно засмеялся человек, и это так испугало бедного Баушана, что, поджав хвост, он пустился наутек, а овца вприпрыжку кинулась за ним.

Между тем мы довольно далеко отошли от стада, и глупая девчонка уже не кричала, а дико вопила, чуть не лопааясь с натуги; теперь она не только пригибалась к коленкам, а, помогая крику, вскидывала колени под самый подбородок, так что издали казалась беснующимся красным пятном. То ли на ее крик, то ли просто заметив что-то неладное, из-за построек выбежала скотница в фартуке. В одной руке у нее

были вилы, другой она придерживала колыхавшуюся на бегу грудь. Тяжело дыша, она подбежала к нам и, замахиваясь вилами на овцу, которая тем временем сбавила шаг, потому что и Баушан пошел тише, пыталась повернуть беглянку к стаду, но ей это не удавалось. Овца, правда, отскакивала в сторону от вил, но, описав круг, опять трусила вслед за Баушаном, и никакими силами ее нельзя было отогнать от него. Тут я понял, что единственный выход — повернуть обратно. И все мы пошли назад: я, рядом со мной Баушан, за ним овца, а за овцой скотница с вилами. Между тем девочка в красном, согнувшись, топотала ногами и что-то выкрикивала нам навстречу. Мы вернулись к стаду, но на этом мытарства наши не кончились; пришлось довести дело до конца, то есть дойти до скотного двора и овчарни и ждать, пока скотница, навалившись всей тяжестью на раздвижную дверь, не отворит ее. А когда вся процессия, соблюдая тот же порядок, вошла туда, мы потихоньку выскользнули из овчарни, хлопнув дверь перед носом одуроченной овцы, так что она оказалась в плену. Только после этого, напутствуемые благодарностями скотницы, Баушан и я могли продолжать прерванную прогулку, но бедняга до самого нашего возвращения домой был не в духе и выглядел пристыженным.

Но хватит об овцах. Слева к садоводству примыкает вытянувшийся в длину дачный поселок; легкие фанерные домишки и беседки, очень похожие на часовенки, посреди крохотных огороженных решетками садилов, придают ему сходство с кладбищем. Сам поселок тоже обнесен оградой; только счастливые владельцы участков могут проникнуть туда через решетчатые ворота, и порой я вижу, как какой-нибудь любитель-садовод, засучив рукава, усердно вскапывает свой огорожок шага в четыре длиной, а издали кажется, что он роет себе могилу. Потом опять идут луга, покрытые бугорками кротовых нор, они тянутся до самой опушки леса средней зоны. Кроме кротов, тут водится уйма полевых мышей — что следует иметь в виду, памятуя о многообразии охотничьих вкусов Баушана.

По другую сторону, то есть справа, ручей бежит все дальше вдоль склона, который, как я уже говорил, постоянно меняет свой облик. Сперва этот склон, поросший елями, угрюм и сумрачен, дальше он переходит в ярко отражающий солнечные лучи песчаный карьер, еще немного дальше — в гравиевый карьер и, наконец, в осыпь из битого кирпича, словно кто-то там, наверху, развалил дом и ненужные обломки скинул вниз, так что ручей на своем пути наталкивается на неожиданное препятствие. Но все ему нипочем, он лишь ненадолго замедляет свой бег и чуточку выступает из берегов, а красная от кирпичной пыли вода его, омыв прибрежную траву, оставляет на ней розоватый след. Но вот затор позади, и ручей бойко спешит дальше, еще чище и прозрачнее прежнего, весь осыпанный солнечными блестками.

Я люблю ручьи, люблю, как и всякую воду, будь то море или поросшая камышом лужица, и, когда летом в горах до моего слуха откуда-то доносится тихий говор и болтовня ручейка — я иду на этот звук и готов пройти сколько угодно, лишь бы разыскать, где спрятался словоохотливый сынок горных высот, поглядеть ему в лицо и познакомиться с ним. Хороши горные потоки, которые, по-весеннему грохоча, сбегают между елями с крутых уступов скал, собираются в ледяные купели и, окруженные белым облаком брызг, отвесно падают на следующий уступ. Но и ручьи равнин тоже по-своему привлекательны и дороги мне — все равно, мелкие ли, едва покрывающие отшлифованные скользкие камешки на дне, или глубокие, как небольшие речки, стремительно несущие свои воды в тени низко склонившихся ив, замедляющие бег у берега и убыстряющие его на середине.

Кто из нас не предпочитал всем удовольствиям пешую прогулку вдоль берега реки? То, что вода имеет для человека такую притягательную силу, естественно и закономерно. Человек — дитя воды, ведь наше тело на девять десятых состоит из нее,

и на какой-то стадии внутриутробного развития у нас появляются жабры. Для меня лично любоваться водой во всяком ее состоянии и виде — самый проникновенный и непосредственный способ общения с природой; только любясь водой, я сливаюсь с природой до самозабвения, до растворения моего собственного ограниченного бытия в бытии вселенной. Вид моря, дремлющего или с грохотом набегающего на берег, приводит меня в состояние такого глубокого безотчетного забытья, такой самоотрешенности, что я утрачиваю всякое ощущение времени, перестаю понимать, что такое скука, и часы наедине с природой летят, как минуты. Но так же могу я без конца стоять, облокотившись на перила мостков, переброшенных через ручей, и, забыв обо всем, смотреть, как внизу течет, бежит и струится вода, и тогда то, другое течение вокруг меня и во мне — быстрый бег времени — не властно надо мной, и я уж не ведаю ни страха, ни нетерпения. Я люблю стихию воды, и потому мне так дорога наша узенькая полоска земли между рекой и ручьем.

Здесь ручей принадлежит к самым скромным и простым из разнообразного семейства ручьев; ничем он особенным не примечателен, и характер у него такой, какому и полагается быть у всякой благодушной посредственности. До наивности прозрачный, не ведая ни лжи, ни фальши, он далек от того, чтобы, прикрываясь мутью, изображать глубину: он мелок, чист и бесхитростно выставляет напоказ покоящиеся на дне его, среди зеленой тины, старые жестяные кастрюли и останки башмака со шнурком. Впрочем, он достаточно глубок, чтобы служить приютом хорошеньким серебристо-серым, удивительно притклым рыбешкам, которые при нашем приближении замысловатыми зигзагами бросаются врассыпную.

Кое-где ручей образует бочажки, и его обрамляют чудесные ивы; особенно полюбилась мне одна, — проходя мимо, я всякий раз на нее засматриваюсь.

Она растет на склоне, в некотором отдалении от воды. Но одна из ее ветвей в страстной тоске тянется вниз к ручью и достигла, казалось бы, невозможного: струйки прохладной воды омывают серебристую листву самой нижней веточки. А ива стоит, наслаждаясь этим прикосновением.

До чего же хорошо идти здесь, подставляя лицо теплomu летнему ветерку. Жарко, и Баушан лезет в ручей охладить живот; спину и плечи он никогда по доброй воле в воду не окунет. Он стоит неподвижно и, прижав уши, со смиренным видом смотрит, как вода обтекает его и, журча, струится у него из-под брюха. Но вот он бежит ко мне отряхиваться, так как, по его глубокому убеждению, это почему-то нужно делать в непосредственной близости от меня, и, конечно, отряхивается с такой силой, что обдает меня с головы до ног дождем брызг и тины. И как я его ни отгоняю, и словами и тростью, — все без толку. Тем, что кажется ему естественным, закономерным и необходимым, он никогда не поступится.

Дальше ручей поворачивает на запад к маленькой деревушке, которая, раскинувшись между лесом и склоном, замыкает вид с севера; на краю ее стоит трактир. Там ручей опять расширяется наподобие пруда; крестьянки, стоя на коленях, полощут в нем белье. На ту сторону переброшены мостки, и; если пройти по ним, попадаешь на проселочную дорогу, которая идет от деревни опушкой леса и краем огороженного выгона по направлению к городу. Если свернуть с проселка направо, можно по такой же изъезженной разбитой дороге, ближним путем через лес, попасть к реке.

Итак, мы добрались до зоны реки, и вот сама река перед нами, зеленая, в белой кипящей пене; по существу, это просто большой горный ручей, но его несмолкаемый шум, который слышится по всей окрестности, где более, где менее приглушенно, а здесь, ничем не сдерживаемый, заполняет слух, может, на худой конец, сойти за священный рев морского прибоя. К этому шуму примешивается непрерывный крик множества чаек, которые осенью, зимой и даже еще ранней весной с голодным воп-

лем кружатся у сточных труб, добывая себе пищу, пока наступление тепла не позволит им снова отлететь на горные озера; и криканье диких и полудиких уток, которые тоже проводят холодное время года поблизости от города, качаются на волнах и, отдав себя во власть быстрине, позволяют ей кружить их и нести к порогам, чтобы в самый последний миг взлететь и немного выше снова сесть на воду...

Прибрежная область, в свою очередь, состоит из нескольких областей помельче, или своего рода уступов. У опушки леса, как бы продолжая тополевую аллею, о которой я уже не раз упоминал, лежит широкая, покрытая крупным щебнем равнина, простирающаяся примерно на километр вниз по реке, а именно до домика перевозчика, — об этом домике еще будет речь впереди, — за ним чаща подступает ближе к берегу. Что это за пустыня из щебня, мы уже знаем: это первый и главный из продольных проспектов, на котором компания по продаже земельных участков, прельстившись чудесным видом, задумала устроить роскошную эспланаду для гулянья: тут кавалеры на кровных лошадях, склонившись к дверцам великолепных лакированных ландо, должны были обмениваться тонкими любезностями с откинувшимися на сиденья улыбающимися дамами. Возле домика перевозчика большая доска с объявлением, наклонившаяся и готовая от ветхости упасть, проливает свет на то, куда должен был на первых порах устремляться поток экипажей и верховых, на конечную цель гуляния; огромными буквами она оповещает, что угловой участок продается под ресторан или кафе на открытом воздухе... Да, продается и, видимо, еще долго будет продаваться. Потому что вместо кафе на открытом воздухе, вместо маленьких столиков, снующих официантов и посетителей, прихлебывающих кофе, тут все еще висит покосившаяся доска с объявлением, воплощенное свидетельство безнадежно падающего предложения при отсутствии спроса, а шикарный проспект так и остался покрытой щебнем пустыней, где ивняк и голубой шалфей разрослись почти так же буйно, как на улицах Опица и Флемминга.

Рядом с эспланадой, ближе к реке, проходит узенькая, покрытая щебнем, насыпь с травянистыми откосами, на которой стоят телеграфные столбы; она тоже сильно заросла. Я иногда хожу здесь разнообразия ради или в дождливую погоду: по щебню идти хоть и трудно, но зато здесь чище, чем на глинистой пешеходной дорожке внизу. Эта пешеходная дорожка — несостоявшийся «променада», — которая тянется далеко вдоль берега и переходит затем в обыкновенную тропинку, со стороны реки обсажена молодыми деревцами, кленами и березами, а по другую ее сторону растут здешние могучие старожилы — исполинские ивы, осины и серебристые тополя. От дорожки вниз к реке идет крутой откос. Чтобы его не размыло, когда раз или в два в году, во время таяния снегов в горах или во время продолжительных ливней, поднимается вода, откос хитроумно закреплен плетенками из ивняка и вдобавок, в нижней своей части, забетонирован.

Местами на этом откосе устроены спуски с деревянными перекладами нечто вроде лестниц, по которым можно довольно удобно спускаться к речному руслу — вернее, к шестиметровому каменистому пространству, служащему лишь в паводок ложем большому горному потоку, который, по примеру своих меньших братьев, в зависимости от водных условий в горах, то пересыхает до крохотного ручейка, едва прикрывающего камни даже в самых глубоких местах, так что кажется, будто голенастые чайки стоят прямо на воде, то вдруг вздувается, превращаясь в огромную бурную реку, способную на любое бесчинство и насилие, и, беснуясь, мчит по широкому своему руслу, с диким ревом увлекая и кружа самые неподобающие предметы — корзины, кусты, дохлых кошек и тому подобное. Русло также, на случай паводка, укреплено идущими по диагонали заграждениями из ивняка, похожими на плетни. Заросшее песчанкой, диким овсом и вездесущей красой наших мест — сухим голубым шалфеем,

это русло благодаря выложенной у самой воды каемке из отесанных камней вполне проходимо и даже дает приятную возможность разнообразить прогулки. Ходить по твердому камню несколько утомительно, но это искупается милой близостью воды, а потом можно иногда пройти кусочек и рядом, по песку, — да, среди гальки и дикого овса там попадаетеся и песок, правда, с некоторой примесью глины и не такой девственной чистоты, как морской, но все же настоящий прибрежный песок, так что гуляешь здесь внизу, вдоль реки, совсем как по бесконечному взморью — тут и шум волн, и крики чаек, и даже то поглощающее время и пространство однообразие, в котором блаженно замирает само течение жизни. Скатываясь с небольших порогов, всюду бурлит вода, а на полпути к дому перевозчика к этому примешивается еще и грохот водопада — шум наклонно впадающего в реку на той стороне водостока. Выгнутая, как бы поблескивающая чешуей, струя водопада похожа на большую рыбину, и вода под ней постоянно кипит.

Хорошо здесь, когда небо голубое и ялик перевозчика то ли в честь прекрасной погоды, то ли по случаю праздника украшен вымпелом. У причала стоит несколько лодок, но к ялику перевозчика прикреплен трос, который, в свою очередь, соединяется с другим, более толстым тросом, протянутым наискось поперек реки, и ходит по нему на блоке. Лодку гонит само течение, а перевозчик только направляет ее, чуть поворачивая руль.

Перевозчик с женой и ребенком живут в домике, который стоит немного отступя от верхней пешеходной дорожки; при домике огород и курятник, квартира эта, конечно, казенная, и они ничего за нее не платят. Затейливой архитектуры, со множеством фонариков и балкончиков, домик с двумя комнатами в нижнем и двумя — в верхнем этаже похож на игрушечную виллу. Я люблю сидеть на скамейке перед садиком у самой пешеходной дорожки, Баушан укладывается на моей ноге, вокруг бродят куры перевозчика, при каждом шаге вскидывая голову, а рядом, на спинку скамьи, обычно взгромождается красавец петух и, опустив хвост с роскошными, как у берсальеров, зелеными перьями, искоса зорко наблюдает за мной красным глазом. Я смотрю, как работает перевоз; не сказал бы, чтобы дело шло бойко или хотя бы оживленно, — в кои-то веки кого перевезут! Тем приятнее видеть, когда с той или с этой стороны реки появится мужчина или женщина с корзинкой и потребует, чтобы их переправили, ибо романтика «перевоза» сохранила для нас свою былую притягательную силу, даже когда все, как тут, устроено на современный лад и усовершенствовано. Сдвоенные деревянные лестницы для прибывающих и отбывающих ведут с обоих откосов вниз к мосткам; сбоку, возле лестниц, проведены электрические звонки. Вот на том берегу показался человек, он стоит неподвижно и смотрит через реку на нашу сторону. Теперь уж ему не приходится кричать, как бывало, сложив руки трубой. Он подходит к звонку и нажимает кнопку. Пронзительный звонок на вилле означает: «Эй, перевозчик!», но даже и в таком виде вызов лодки не утратил своей поэзии.

Потом жаждущий переправы стоит, ждет и всматривается, не идет ли кто.

Не успел еще отзвонить звонок, а уж перевозчик выходит из своего казенного домика, словно он все время стоял или сидел за дверью, дожидаясь звонка, — выходит и идет, как заводная игрушка, — нажали на кнопку, она и пошла, — впечатление почти такое, как в тире, когда стреляешь в дверцу домика и, если выстрел удачный, оттуда выскакивает фигурка — альпийская пастушка или солдатик. Не спеша, в такт шагам размахивая руками, перевозчик идет через садик, пересекает пешеходную дорожку, спускается по деревянной лестнице к реке, отвязывает ялик и садится за руль. Блок бежит по тросу, и лодку несет течением к противоположному берегу. Там он ждет, пока не усядется пассажир, а когда они подъезжают к нашим мосткам, тот подает перевозчику десять пфеннигов и, довольный тем, что река осталась позади, весело взбе-

гает по лестнице и поворачивает направо или налево по тропинке. Когда перевозчик болен или занят неотложными домашними делами, случается, что вместо него на звонок выходит его жена или даже сынишка; они справляются с его работой ничуть не хуже, чем он сам, как, впрочем, справился бы и я. Должность перевозчика не сложная и не требует никаких особых талантов или специального обучения. Словом, он должен денно и ночью благодарить судьбу за то, что ему досталась такая синекура и хорошенький домик. Любой дурак мог бы его заменить, он и сам это великолепно знает и потому держится скромно, даже несколько подобострастно. Увидев меня на скамье в обществе петуха и собаки, он учтиво желает мне доброго утра, да и вообще по всему видно, что он не хочет наживать себе врагов.

Запах смолы, влажный ветер и глухой цлеск волн о борта лодок. Чего же мне еще желать? Но порой на меня находят иные, дорогие моему сердцу воспоминания: вода спала, чуть пахнет гнилью — это лагуна, Венеция. Но вот вода опять прибыла, льют нескончаемые дожди; в резиновом плаще с мокрым лицом, я шагаю по верхней дорожке, борясь с крепким вестом, который немилосердно треплет молодые тополя в аллее, отрывая их от кольев, и наглядно показывает, отчего все деревья здесь кривые, с разросшимися в одну сторону кронами. А дождь все льет и льет, и Баушан то и дело останавливается посреди дорожки и отряхивается, обдавая грязью все вокруг. Реку не узнать. Вздувшаяся, желто-черная, она как одержимая мчится вперед. Поток напирает, спешит — грязные волны заливают все русло до самого края откоса, ударяются о его бетонированное подножье, о переплеты из ивняка, так что поневоле начинаешь благословлять предусмотрительность людей, укрепивших берег. Река при этом почти не шумит, она как бы притихла, и тишина ее особенно зловеща. Привычных нам порогов не видно, они под водой, но, потому что в некоторых местах волны выше, провалы между ними глубже и гребни опрокидываются не вперед, как у берега, а назад, — угадываешь, что здесь-то и находятся пороги. Водопад совсем сошел на нет — это всего лишь плоская жалкая струйка, и кипенье под ним почти незаметно из-за высокой воды. Баушан взирает на все эти перемены с безграничным удивлением. Он опешил и никак не может взять в толк, куда же делось сухое место, по которому он привык бегать и носиться галопом, и почему здесь сегодня вода; в страхе удирает он вверх по откосу от набегающих валов, виляя хвостом, оборачивается ко мне, опять смотрит на воду и при этом в недоумении как-то криво открывает и снова закрывает пасть, высовывая сбоку кончик языка, — игра физиономии, столь же свойственная людям, как и животным, и хотя как форма выражения не очень-то изысканная и даже вульгарная, но зато весьма удобопонятная; очутившись в таком же затруднительном положении, к ней вполне мог бы прибегнуть несколько ограниченный и не слишком культурный человек, причем он, наверное, еще почесал бы в затылке.

Остановившись более или менее подробно на зоне реки, я тем самым завершил описание всей нашей местности и сделал, насколько я понимаю, все от меня зависящее, чтобы читатель мог наглядно себе ее представить.

В моем описании мне эти края нравятся, но в натуре нравятся еще больше.

Как ни говори, а в жизни все определеннее и многограннее, так же как Баушан в действительности непосредственнее, живее и забавнее, чем его сотканный из слов двойник. Я привержен к здешней природе, благодарен ей и потому описал ее. Она мой парк и мое уединение; мои мысли и мечты смешались и переплелись с ее пейзажами, как листва ее хмеля и дикого винограда переплелась с листвой деревьев. Я видел ее во всякое время дня и во всякое время года: осенью, когда в воздухе стоит лекарственный запах прелого листа, когда заросли чертополоха уже успели отцвести, и громадные буки «курортного» парка расстилают по лулу ржаво-красный ковер опавших листьев, и струящиеся золотом летние дни переходят в ранние романтически театральные ве-

чера с плывущим по небу трафаретным серпом луны, молочными туманами над землей и закатом, пылающим сквозь черные силуэты деревьев... Осенью, а также зимой, когда щебень засыпан снегом и по мягкой ровной дороге можно спокойно ходить в резиновых ботах, когда река стремится вперед, черная между белесыми, скованными льдом берегами, и в воздухе с утра до ночи стоит крик сотен чаек. Но все же самые короткие и непринужденные отношения устанавливаются у меня с ней в теплые месяцы, когда можно, не одеваясь, между двумя ливнями, на четверть часа выскочить на аллею, мимоходом притянуть к лицу мокрую ветку черемухи и бросить хотя бы один взгляд на бегущие волны. Или, к примеру, от тебя только что ушли гости, и ты, до смерти усталый от всех разговоров, остался один в четырех стенах, где воздух еще пропитан дыханием чужих людей. Тогда хорошо сразу же, в чем есть, выйти побродить по улицам Геллерта и Штифтера, отдышаться и прийти в себя. Смотришь вверх на небо, смотришь на тонкую и нежную листву вокруг, нервы успокаиваются, и к тебе возвращается обычная спокойная серьезность и ясность.

Но Баушан всегда со мной. Ему не удалось помешать вторжению внешнего мира в наш дом: сколько он ни протестовал яростным лаем, сколько ни рвался — все было напрасно, и он удалился в свою конуру.

Теперь он не помнит себя от счастья, что я снова с ним, в наших охотничьих угодьях. Левое ухо у него небрежно завернулось, и он трусит впереди меня бочком, по собачьему обыкновению, так что задние лапы движутся не по одной линии с передними, а чуть наискось. Но вот я вижу, что-то захватило внимание Баушана, его торчащий кверху обрубок хвоста начинает отчаянно вилять. Тело напряженно вытягивается, голова опущена книзу, он делает прыжок в одну сторону, затем в другую и, наконец, избрав направление, уткнувшись носом в землю, устремляется вперед. Это след!

Баушан напал на след зайца.

## ОХОТА

Местность наша богата дичью, и мы охотимся; вернее сказать, Баушан охотится, а я смотрю. Таким манером мы охотимся на зайцев, куропаток, полевых мышей, кротов, уток и чаек. Но мы не отступаем и перед охотой на крупную дичь — поднимаем фазанов и даже выслеживаем косуль, если им случается зимой забрести в наши края. Какое это волнующее зрелище, когда желтое на фоне снега тонконогое легкое животное, вскидывая белый зад, как ветер, мчится от маленького, напрягающего все силы Баушана, — я не отрываясь слежу за такой погоней. Не то чтобы тут могло что-нибудь получиться — этого никогда не было и не будет. Но отсутствие осязаемых результатов не охлаждает страсти и азарта Баушана, да и мне не портит удовольствия. Мы любим охоту ради охоты, а не ради добычи или корысти, и, как я уже говорил, главную роль в ней играет Баушан. Он не ждет от меня ничего, кроме моральной поддержки, ибо из своего личного и непосредственного опыта не знает иного взаимодействия между хозяином и собакой и не представляет себе существования более жестокого и практического способа заниматься этим делом. Я подчеркиваю слова «личный» и «непосредственный», так как не подлежит сомнению, что его предки, по крайней мере по линии легавых, знали настоящую охоту, и я не раз задавал себе вопрос, не живет ли в Баушане подспудно память об этом и не может ли какой-нибудь случайный внешний толчок ее пробудить. На такой ступени различие между особью и родом более поверхностно, чем у людей, рождение и смерть не вызывают столь глубоких сдвигов бытия, и родовые традиции, вероятно, лучше передаются потомству, так что, хоть это и кажется несообразным, мы тут вправе говорить о врожденном опыте, о неосознан-

ных воспоминаниях, которые, будучи вызваны извне, могут прийти в столкновение с личным опытом живого существа и породить в нем чувство неудовлетворенности. Мысль эта одно время меня тревожила, но потом я выкинул ее из головы, так же как Баушан, по-видимому, выкинул из головы жестокое происшествие, которому однажды был свидетелем и которое послужило поводом к моим размышлениям.

Отправляемся мы с ним на охоту обычно, когда время уже близится к полудню; впрочем, иногда, особенно в жаркие летние дни, и под вечер, часов в шесть или позже, то бывает, что в эти часы мы выходим из дому уже во второй раз, — так или иначе, но настроение у меня совсем другое, чем при нашей утренней безмятежной прогулке. Свежести и бодрости уже нет и в помине, я трудился, мучился, стиснув зубы, преодолевал трудности, вынужденный биться с частностями и в то же время не упускать из виду той более общей и многообразной связи, которую я обязан, ничем не смущаясь и ни перед чем не отступая, проследить во всех мельчайших ее разветвлениях, и голова у меня трещит от усталости. Вот тут-то меня и выручает охота с Баушаном, я отвлекаюсь, настроение подымается, прибывают силы, и я уже могу работать всю вторую половину дня, за которую мне немало еще предстоит сделать. Я это и ценю и помню и потому хочу описать нашу охоту.

У нас, конечно, так не выходит, чтобы нацелиться на одну какую-нибудь дичь из вышеприведенного перечня и идти, скажем, только на зайцев или на уток. Мы охотимся на все вперемешку, что бы нам ни попало — чуть было не сказал «на мушку», да нам и ходить далеко не надо, охота начинается сразу же у калитки: на лугу возле нашего дома пропасть кротов и полевых мышей. Эти плюшевые зверюшки, строго говоря, не дичь, но их подземный образ жизни и скрытный нрав, в особенности хитрость и проворство мышей, которые, в отличие от своих зарывшихся в землю слепых сородичей, отлично видят при свете и часто шныряют поверху, чтобы при малейшем шорохе опасно и так стремительно юркнуть в черную норку, что даже не разглядишь, как они переступают лапками; — неотразимо действуют на охотничьи инстинкты Баушана, и потом, это единственная дичь, которую ему иной раз удастся поймать, а полевая мышь или крот, по нынешним тяжелым временам, когда в миску у конуры изо дня в день наливается пресная ячневая похлебка, — право же, лакомый кусочек.

Итак, не успеваю я несколько раз взмахнуть тросточкой, шагая по нашей тополевой аллее, как только что носившийся взад и вперед Баушан уже проделывает какие-то диковинные скачки справа на лугу. Его обуяла охотничья страсть, он ничего не видит и не слышит, кроме волнующего присутствия незримых зверьков: весь напрягшись, нервно виляя хвостом и, осторожности ради, высоко подбирая ноги, крадется он по траве, на полушаге замирает с поднятой передней или задней лапой, склонив голову набок и опустив морду, так что большие лопухи приподнятых ушей свисают у него спереди по обе стороны глаз, сверху вниз в упор смотрит на землю и вдруг делает скачок вперед, накрывая что-то обеими лапами, еще скачок — и удивленно глядит туда, где только сейчас что-то было, а теперь уже ничего нет. Затем он начинает копать... Мне очень хочется посмотреть, что он копает и до чего докопается, но тогда мы далеко не уйдем, потому что Баушан способен весь свой охотничий заряд израсходовать на полянке у дома. Посему я спокойно иду дальше: сколько бы Баушан тут ни проторчал, он все равно меня найдет, даже если не видел, куда я свернул, — след мой для него не менее ясен, чем след зверя; потеряв меня из виду, он уткнется носом в землю и помчится по следу, и вот уж я слышу позвякивание жетончика Баушана, слышу за спиной его упругий галоп, он стрелой проносится мимо, круто заворачивает и глядит на меня, виляя хвостом, будто хочет сказать: «А вот и я!»

Но в лесу или на лугах возле ручья, завидев Баушана у мышиной норы, я иногда останавливаюсь и наблюдаю за ним, даже если солнце клонится к западу и я без

толку теряю время, положенное на прогулку. Меня захватывает его пыл, заражает его усердие, я от души желаю ему успеха и хочу быть свидетелем его торжества. Подчас глядишь на место, где Баушан копается, и ничего не замечаешь — просто какой-нибудь поросший мхом и оплетенный корнями бугорок под березой. Но Баушан услышал, учуял дичь, может быть, даже видел, как она туда прошмыгнула; он уверен, что мышка отсиживается тут под землей в своих ходах и переходах, нужно только до нее добраться; и вот он самоотверженно роет, позабыв обо всем на свете и не щадя сил, — впрочем, злобы в нем нет, — любо-дорого смотреть на этот чисто спортивный азарт. Его маленькое пятнистое тельце с обозначенными под тонкой кожей ребрами и играющими мускулами прогнуто посредине, зад торчит кверху, а над ним лихорадочно бьется обрубок хвоста, голова и передние лапы почти исчезли в наклонно углубляющейся ямке, которую Баушан, отвернув морду, копает железными когтями с таким жаром, что куски дерна и корней, комья земли и камешки ударяются даже о поля моей шляпы. Время от времени, когда он, продвинувшись немного вперед, перестает копать и, уткнувшись носом в землю, старается чутьем определить, где же там, внизу, притаился пугливый умненький зверек, в тишине слышно его сопенье. Звук получается глухой, потому что Баушан спешит вобрать в себя воздух, чтобы очистить легкие и снова приняхаться — учуять этот тонкий, идущий из-под земли, не очень сильный, но острый мышиный запах. Каково-то несчастному зверьку слышать это глухое сопение! Но это уж его дело и дело Господа Бога, сотворившего Баушана врагом и гонителем полевых мышей, а потом, ведь страх обостряет восприятие жизни, мышка наверно бы затосковала, не будь на свете Баушана, и на что бы ей тогда ум, светящийся в бисеринках глаз, и ее сноровка сапера, — словом, все, что уравнивает шансы в борьбе и делает сомнительным успех нападающей стороны? Я не испытываю ни малейшего сострадания к мышке, внутренне я полностью на стороне Баушана и часто, не довольствуясь ролью простого наблюдателя, начинаю тростью выковыривать крепко засевавший камешек или неподатливый корешок, по мере своих сил и возможностей помогая псу преодолеть лежащее на его пути препятствие. Тогда, признав во мне единомышленника, он, не отрываясь от дела, бросает на меня быстрый, горячий и благодарный взгляд. Всей пастью вгрызается он в твердую, поросшую корешками землю, оторвет комок и бросит в сторону; глухо сопя, приняхается и, воодушевленный запахом, опять с остервенением пустят в ход когти...

В большинстве случаев все его усилия оказываются напрасными.

С выпачканным землей носом, грязный по самые плечи, он небрежно еще раз обнюхивает ямку и траву вокруг и, отказавшись от своей затеи, с завидным безразличием семенит дальше.

— Ну зачем ты копал? Там же ничего не было, — говорю я Баушану, когда он на меня смотрит, — ничего не было, — повторяю я и, для большей убедительности, качаю головой и даже поднимаю брови и плечи.

Но Баушана нет надобности утешать, неудача несколько его не обескуражила. Охота есть охота, жаркое тут на последнем месте, зато до чего же было хорошо потрудиться, думает он, если вообще еще думает об осаде, которую только что вел с таким усердием; его уже тянет на новые авантюры, случай к которым представляется во всех трех зонах буквально на каждом шагу.

Но бывает и так, что мышке не удастся ускользнуть от него, и тогда мне приходится пережить несколько неприятных минут, потому что Баушан тут же, без всякой жалости, пожирает ее живьем со всеми потрохами.

Может быть, инстинкт самосохранения подвел злосчастную мышку — и она выбрала себе под жильем слишком рыхлое, малозащищенное место, до которого ничего не стоило докопаться; а может, ход был очень мелкий, и она, потеряв голову, не суме-

ла его углубить: засела в нескольких дюймах от поверхности земли и с выпученными бисеринками глаз, обмерев от ужаса, прислушивалась к страшному сопению, которое все приближалось и приближалось. Как бы там ни было, железный коготь выволок ее наружу и подбросил вверх — на страшный свет Божий, — пропала мышка! Недаром ты дрожала от страха, и твое счастье, если от великого страха у тебя помутился рассудок, потому что теперь ты пойдешь Баушану на жаркое!

Он держит ее за хвост, мотает по земле раз-другой; слышится тонкий, слабый писк, последний писк покинутой Богом мышки, и вот уж она у Баушана в пасти, между его белыми зубами. Широко расставив задние ноги, он стоит подавшись вперед и, жуя, вскидывает голову, будто снова и снова подхватывает на лету кусок, чтобы полочее перебросить его в пасти.

Косточки хрустят, еще какое-то мгновенье лоскуток шкурки свисает у него с уголка губ, он подхватывает его, — все кончено; и Баушан начинает исполнять вокруг меня нечто вроде воинственного победного танца, а я стою, как стоял во время всей этой сцены, опершись на тросточку, и наблюдаю. «Ну и ну! — говорю я ему с почтением, исполненным ужаса, и качаю головой. — Знаешь, кто ты? Самый настоящий каннибал и убийца!» Но в ответ Баушан лишь пуце прежнего скачет, и недостает только, чтобы он громко захохотал. Итак, я иду дальше по тропинке, чувствуя в спине неприятный холодок от того, что сейчас видел, но вместе с тем и в какой-то мере приободренный грубым юмором жизни. То, что случилось, естественно и закономерно: если мышью плохо управляет инстинкт, она превращается в жаркое для Баушана. Однако в таких случаях мне приятнее, если я не помогал тросточкой этому естественному и закономерному порядку, а ограничился чисто созерцательной ролью.

Когда после недолгих поисков Баушан острым своим чутьем обнаруживает в кустарнике фазана, который спал там или притаился, надеясь остаться незамеченным, и тяжелая птица внезапно вылетает из куста, можно не на шутку испугаться. С шумом, с треском, взволнованно и гневно крича и кудахча, большая красно-рыжая длинноперая птица подымается в воздух и, роняя помет, тут же с глупым безрассудством курицы садится на ближнее дерево, где продолжает клохтать, а Баушан, упершись передними лапами в ствол, бешено лает на нее. Гав! Гав! Что сидишь, безмозглая птица, лети, а я за тобой погоняюсь, — как бы хочет он сказать своим лаем.

И дикая курица, не выдержав мощного гласа, снова с шумом срывается с ветки и, тяжело взмахивая крыльями, летит между макушками деревьев, не переставая клохтать и жаловаться, а Баушан молча, как и подобает мужчине, преследует ее по земле.

В этом, и только в этом, его блаженство, ничего другого он не хочет и не знает. Да и что бы произошло, если бы он в самом деле поймал фасана?

Ничего бы не произошло. Я видел однажды, как Баушан держал фазана в когтях; вероятно, мой охотник наступил на него, когда тот спал, и неуклюжая птица не успела подняться в воздух — и вот смущенный победитель стоял над ней и не знал, что ему делать. Фазан лежал в траве с оттопыренным крылом и, вытянув шею, кричал, кричал без умолку, так что издали можно было подумать, что в кустах режут старуху, и я бросился туда, чтобы предотвратить злодейство. Но тут же я убедился, что страхи мои напрасны: явное замешательство Баушана, любопытство и брезгливость, с каким он, склонив голову набок, взирал на своего пленника, служили тому порукой. Этот бабий крик у его ног, видимо, действовал ему на нервы, и он не столько торжествовал победу, сколько был смущен. Пощипал ли он немного, почета и посрамления ради, пойманную птицу? Мне представляется, что я видел, как он одними губами, не пуская в ход зубов, выдернул у нее из хвоста несколько перьев и, сердито мотая головой, отбросил их в сторону. Потом оставил фазана в покое и отошел, не из великодушия, а потому, что вся эта история уже не походила на веселую охоту и порядком ему на-

скутила. Посмотрели бы вы, как опешил фазан! Несчастный, должно быть, уже простился с жизнью и сперва даже не знал, как ею распорядиться, — во всяком случае, он довольно долго лежал в траве, как мертвый. Затем проковылял несколько шагов, кое-как взгромоздился на сук, с которого, покачнувшись, чуть не свалился, и, волоча за собой длинный шлейф хвоста, полетел прочь. Больше фазан уже не кричал, предпочитая держать язык за зубами. Молча пролетел он над парком, пролетел над рекой, над левобережными лесами, все дальше и дальше, как можно дальше от этих проклятых мест, и, конечно, никогда уже больше сюда не возвращался.

Но в наших угодах немало его сородичей, — и Баушан охотится за ними по всем правилам охотничьего искусства. Пожирание мышей — единственное душегубство, в котором он повинен, но и оно является чем-то побочным и вовсе не обязательным по сравнению с высокой самоцелью, состоящей в том, чтобы выслеживать, поднимать, гнать, преследовать, — это признал бы всякий, увидев его за этой великолепной забавой. Как он тогда хорош, как изумителен, как великолепен: Баушан сразу преображается, совершенно так же, как неуклюжий крестьянский парень из годной деревушки вдруг становится картинно красив, когда, охотясь на серну, стоит с ружьем на скале. Все, что есть в Баушане лучшего, подлинно благородного, раскрывается и получает развитие в эти блаженные минуты, потому-то он так и ждет их и так страдает, когда время уходит попусту. Ну какой же Баушан пинчер, это самая настоящая подружейная собака, легаш, и каждое его движение, каждая воинственная и мужественно простая поза дышат гордостью и счастьем. Я испытываю истинное эстетическое наслаждение, когда вижу, как он пружинистой рысью бежит по кустарнику и вдруг замирает в стойке с грациозно поднятой и чуть повернутой внутрь лапой: какой у него значительный вид, какая смышленная внимательная морда и до чего он хорош в напряжении всех своих сил и способностей! Случается, что, пробираясь сквозь чащобу, Баушан взвизгивает. Напорется на колючку и громко скулит. Но и это в порядке вещей, и это — только беззастенчиво-откровенное выражение непосредственных ощущений, лишь ненадолго умаляющее его достоинство; секунду спустя Баушан уже снова стоит во всем своем блеске и великолепии.

Я смотрю на него и вспоминаю время, когда, утратив всякую гордость и внутреннее достоинство, он опять опустился до того жалкого физического и нравственного состояния, в каком впервые предстал перед нами на кухне фрейлейн Анастасии и которое не без труда преодолел, постепенно обретая веру в себя и в окружающий мир. Не знаю, что с ним было — шла ли у него кровь из пасти, из носу или горлом, да и по сей день это никому не известно; во всяком случае, куда бы Баушан ни пошел и где бы он ни стоял, — везде оставались кровавые следы — на траве наших угодий, на его соломенной подстилке, на паркете кабинета, и никаких ран или царапин мы не обнаруживали. Иногда казалось, что он вымазал всю морду красной масляной краской. Он чихал — и во все стороны летели кровавые брызги, он наступал на них и всюду оставлял кирпичный отпечаток лап. Самый тщательный осмотр не дал никаких результатов, и мы не на шутку встревожились. Может быть, у него туберкулез? Или какая-нибудь неизвестная нам собачья болезнь? Поскольку это столь же непонятное, сколь и неопрятное явление не прекращалось, решено было поместить его в ветеринарную лечебницу.

На следующий день, около полудня, хозяин дружественной, но твердой рукой надел ему намордник — эту штуковину из кожаных ремешков, которую Баушан совершенно не выносит и от которой непременно хочет избавиться, стаскивая ее лапами и крутя головой, — пристегнул к ошейнику плетеный поводок и повел взнузданного таким образом больного налево по аллее, затем через городской парк и далее вверх по людной улице, к виднеющимся в конце ее корпусам университета. Там мы вошли

в ворота, пересекли двор и очутились в приемном покое, где на скамейках вдоль стен дожидалось много народа, и у всех, как и у меня, на поводках были собаки — собаки самых различных пород и величины, которые уныло глядели друг на друга через кожаные свои забрала. Тут была старушка с апоплексическим мопсом, слуга в ливрее с тонконогой, белой, как ромашка, русской борзой, время от времени тихо и благовоспитанно покашливавшей, крестьянин с таксой, у которой были такие кривые и вывернутые наизнанку ноги, что она, по-видимому, нуждалась в услугах ортопеда, и многие другие. Сновавший взад и вперед служитель впускал посетителей по одному в кабинет напротив; наконец очередь дошла и до меня с Баушаном.

Профессор, человек, еще не старый, в белом операционном халате и в золотом пенсне, с шапкой курчавых волос и таким знающим добросердечно-участливым видом, что, заболел я сам или кто-нибудь из домашних, я бы, не задумываясь, обратился к нему, слушая меня, все время отечески улыбался сидевшему перед ним пациенту, который тоже доверчиво глядел на него снизу вверх. «Красивые у него глаза», — сказал профессор, оставив без внимания усы и клинообразную бородку Баушана, и выразил согласие его осмотреть.

Оцепеневшего от удивления Баушана с помощью санитаров разложили на столе, и я, признаться, даже растрогался, видя, с каким вниманием и добросовестностью врач прикладывал черную трубку к пятнистому тельцу кобелька, совершенно так же, как это не раз делали со мной. Он выслушал его ускоренно бьющееся собачье сердце, выслушал в различных местах работу других внутренних органов. Затем, засунув стетоскоп под мышку, обеими руками обследовал его глаза, нос, горло, после чего поставил предварительный диагноз. Собака несколько нервна и малокровна, но, в общем, в хорошем состоянии. Причина кровотечения пока неясна.

Это может быть эпистаксия или гематемезия. Не исключено также и трахеальное или фарингиальное кровотечение. Но скорее всего это гематтеза. Необходимо тщательно наблюдать за животным в клинических условиях, а потому лучше оставить его здесь и через недельку навестись.

Мне оставалось только поблагодарить профессора за столь обстоятельное разъяснение и откланяться, что я и сделал, похлопав Баушана на прощание по плечу. Направляясь к воротам, я видел, как служитель вел нового больного через двор к стоящему поодаль зданию и как Баушан, растерянно и испуганно озираясь по сторонам, искал меня глазами. А ведь, по существу-то, он должен был быть польщен: мне, откровенно говоря, было лестно, что профессор признал его нервным и малокровным. Кто на ферме в Хюгельфинге чаял и гадал, что о Баушане скажут такое и что его персоной будут заниматься ученые люди!

Но прогулки мои с этого дня стали какие-то пресные, я получал от них мало удовольствия. Выходишь — тебя не встречает буря молчаливого восторга, гуляешь — нет вокруг тебя мужественной охотничьей суетни.

Парк, казалось, опустел, мне было скучно. Почти каждый день я по телефону справлялся о здоровье Баушана. Ответ, сообщаемый какой-то подчиненной инстанцией, неизменно гласил: «Самочувствие больного, в его состоянии, удовлетворительное», но что это за состояние, мне, по каким-то соображениям, не говорили. Тем временем прошла неделя, как я отвел Баушана в лечебницу, и я решил пойти туда сам.

Прибитые всюду таблички с надписями и указующими перстами привели меня прямо к двери клинического отделения, где помещался Баушан, и я, следуя строгому предписанию на двери, вошел туда без стука.

Средней величины палата, в которой я очутился, напоминала зверинец, да и воздух в ней был такой же тяжелый, только что к звериному духу здесь примешивался еще сладковатый запах всевозможных лекарств — смесь, от которой противно

першило в горле и подташнивало. По стенам шли клетки, большая часть которых была занята. Из одной клетки навстречу мне раздался хриплый лай; у ее отворенной дверцы возился человек, вооруженный граблями и лопатой, должно быть служитель. Не прерывая своего занятия, он ответил на мое приветствие и предоставил меня самому себе.

Еще на пороге я, оглядевшись, увидел Баушана и теперь направился к нему. Он лежал за решеткой своей клетки на подстилке то ли из толченой дубовой коры, то ли из каких-то опилок, отчего в палате помимо звериного запаха, вони карболки и лизоформа разило еще чем-то, — лежал, как леопард, но очень усталый, очень безучастный и скучный леопард; я даже испугался, когда увидел, с каким мрачным безразличием он отнесся к моему появлению и присутствию здесь. Раз или два вяло стукнул хвостом по подстилке и только после того, как я с ним заговорил, оторвал голову от лап, но тут же снова ее уронил и хмуро уставился в стенку. К его услугам в глубине клетки стояла глиняная миска с водой. Снаружи, к прутьям решетки, был прикреплен в рамочке наполовину печатный, наполовину заполненный от руки скорбный лист, где под графами: кличка, порода, пол и возраст — была выведена температурная кривая. Там стояло: «Помесь легавой, кличка Баушан, кобель, возраст два года, поступил такого-то числа, такого-то месяца, года... для исследования по поводу скрытых кровотечений». Ниже следовала начертанная пером, и кстати говоря, не показывающая особых колебаний кривая температуры, возле которой цифрами указывалась частота пульса Баушана. Ему, оказывается, измеряли температуру, и даже врач приходил щупать ему пульс — в этом отношении лучшего нельзя было и желать. Зато его моральное состояние сильно меня встревожило.

— Ваш кобелек? — спросил служитель, подходя ко мне со своим инструментом. Это был приземистый человек в дворничком фартуке, бородатый, краснощекий, с карими, чуть налитыми кровью глазами, удивительно похожими на собачьи, — до того они были честные, влажные и добрые.

Я отвечал утвердительно, сослался на приглашение прийти через недельку наведаться, на телефонные переговоры и заявил, что пришел узнать, как обстоит дело. Служитель посмотрел на скорбный лист. Да, у собаки скрытые кровотечения, сказал он, а это история затяжная, в особенности когда не установлено, чем они вызваны. «А до сих пор не установлено?» Нет, еще окончательно не установлено. Но ведь собака поступила сюда для наблюдения, вот ее и наблюдают. «А кровотечения все продолжаются?» Да, бывают временами. «И тогда их наблюдают?» Да, самым аккуратным образом. «А жар есть?» — спросил я, тщетно стараясь разобраться в температурной кривой. Нет, жару нет. Пульс и температура у собаки нормальные; пульс примерно девяносто в минуту, как полагается, меньше и не должно быть, а если бы было меньше, тогда наблюдать пришлось бы тщательнее. Вообще-то, если бы не кровотечения, пес в неплохом состоянии. Сперва он, правда, круглые сутки выл, а потом обошелся. Ест он вот маловато, но ведь и то сказать — сидит взаперти, без движения, а потом, много значит, сколько он раньше ел.

— А чем его кормят?

— Похлебкой, — ответил служитель, — но он плохо ест.

— Вид у него какой-то подавленный, — заметил я с деланным спокойствием.

— Есть немножко, да только это ничего не значит. В конце концов собаке не очень-то весело сидеть в клетке под наблюдением. Все они у нас подавлены, кто больше, кто меньше, — конечно, те, что помирнее, а иной пес так начинает даже злобиться, кусаться. Ну, да ваш не такой. Он смирный, его хоть до самой смерти наблюдай, кусаться не станет.

Тут я был целиком согласен со служителем, но, соглашаясь, чувствовал, как во мне нарастает боль и возмущение.

— И сколько же, — спросил я, — ему придется еще здесь пробыть?

Служитель снова взглянул на листок.

— Господин профессор считает, что его надо понаблюдать еще деньков семь-восемь, — ответил он. — Через недельку можно справиться. В общей сложности это составит две недели, и тогда уже точно смогут сказать, что с собакой и как ее лечить от скрытых кровотечений.

Еще раз напоследок поговорив с Баушаном, с тем чтобы поднять его дух, и нисколько в этом не преуспев, я ушел. Уход мой он воспринял так же безразлично, как и мое появление. Презрение и глубокая безнадежность, видимо, завладели им. «Если ты способен был посадить меня в эту клетку, — казалось, говорил он всем своим видом, — чего же мне от тебя еще ждать?» Да и как ему было не разочароваться, как не утратить веру в разум и справедливость? В чем он повинен, чем заслужил такую кару и как это я не только допустил, но сам привел его сюда? А я ведь желал ему только добра. У него открылось кровотечение, и если сам он от этого особенно не страдал, то все же я, его хозяин, счел необходимым, чтобы существующая на то наука занялась им, — ведь не какая-нибудь он дворняжка, а собака из хорошего дома, и в университете я своими собственными ушами слышал, что его признали несколько нервным и малокровным, словно какое-нибудь графское дитя. И вот как все для него обернулось! Попробуйте ему растолковать, что, посадив его в клетку, как ягуара, и вместо воздуха, солнца, движения каждый день потчuya его градусником, ему оказывают честь и внимание?

Всю дорогу домой я казнил, и если раньше я скучал по Баушану, то теперь к этому прибавилось беспокойство за него, за его душевное состояние, сомнение в чистоте собственных побуждений и укоры совести. Уж не из тщеславия ли и эгоистического чванства потащил я Баушана в университет? А может быть, мною руководило тайное желание избавиться от него, любопытно было посмотреть, как потечет моя жизнь, когда я освобожусь от его неотступного надзора и со спокойной душой буду сворачивать, куда захочу, — направо или налево, не вызывая ни в едином живом существе чувства радости или горького разочарования? Что греха таить, с того дня, как Баушана поместили в клинику, я и в самом деле наслаждался давно не испытанной внутренней свободой. Никто не донимал меня видом своего мученического ожидания за стеклянной дверью. Никто, стоя у порога с робко поднятой лапой, не вызывал у меня растроганной улыбки и не отрывал раньше времени от работы. Шел ли я в парк, сидел ли дома, никому до этого не было дела. Жизнь и вправду потекла удобная, покойная и не лишенная прелести новизны. Но так как обычный стимул для прогулок отсутствовал, то я почти перестал выходить. Здоровье мое пошатнулось, и когда я уже, можно сказать, дошел до состояния запертого в клетке Баушана, то вынужден был сделать вывод, что оковы сострадания более способствовали моему личному благополучию, нежели эгоистическая свобода, которой я так жаждал.

Прошла еще одна неделя, и в назначенный день я снова стоял с бородатым служителем перед клеткой Баушана. Он лежал на боку, бессильно растянувшись на подстилке из толченой дубовой коры, которая пачкала ему шерсть; голова у него запрокинулась, и тупой, стеклянный взгляд был устремлен на выбеленную известкой заднюю стенку. Он не шевелился.

Лишь присмотревшись, можно было увидеть, что он еще дышит. Но время от времени тихий, раздравший мне сердце вибрирующий стон вздымал его грудную клетку с выпирающими ребрами. Оттого что он страшно исхудал, ноги его казались несоразмерно длинными, а лапы огромными.

Шерсть облезла, свалаялась и, как я уже говорил, перепачкалась, потому что он ворочался в дубовом корье. Он не обратил на меня никакого внимания; и казалось, вообще никогда уже ни на что не будет обращать внимания.

Кровотечения еще не совсем прошли, сказал служитель, иногда они ни с того ни с сего опять начинаются. Чем они вызваны, еще окончательно не установлено, — во всяком случае, это не опасно. Если мне угодно, я могу оставить собаку здесь для дальнейшего наблюдения, чтобы уж знать наверняка, что с ней, но могу и забрать ее домой, там она со временем поправится. Тут я вытащил из кармана поводок, который прихватил с собой, и сказал, что забираю Баушана. Служитель нашел это разумным. Он отворил клетку, и мы оба, порознь и вместе, стали звать Баушана, но бедняга не шел, он по-прежнему лежал, уставившись в белую стенку над своей головой. Правда, когда я просунул руку в клетку и вытащил его за ошейник, он не сопротивлялся. Но он не выпрыгнул, а скорее свалился на все четыре лапы и стоял, поджав хвост и опустив уши, — донельзя жалкое зрелище. Я пристегнул ему поводок, дал служителю на чай и пошел в контору рассчитаться: при таксе в семьдесят пять пфеннигов за сутки, плюс гонорар врачу за первый осмотр, пребывание Баушана в лечебнице обошлось мне в двенадцать с половиной марок. Затем, окутанные облаком сладковато-звериного запаха клиники, которым насквозь пропитался Баушан, мы тронулись домой.

Баушан был сломлен физически и нравственно. Животные непосредственнее, самобытнее и тем самым в известной мере человечнее, чем мы, во внешних проявлениях своих чувств: обороты речи, которые продолжают жить среди нас лишь в переносном смысле и как метафоры, не утратили у них своего первоначального прямого значения, а это всегда радует глаз.

Баушан, как говорится, «повесил голову», то есть он сделал это буквально и так же наглядно, как делает это заезженная извозчичья кляча со сбитыми бабками, когда она, время от времени подрагивая кожей, понуро стоит на углу улицы, и кажется, будто пудовая гиря оттягивает ее облепленную мухами морду к булыжнику мостовой. Короче говоря, две недели, проведенные Баушаном в университете, низвели его до того состояния, в котором я некогда получил его в предгорьях Альп; я сказал бы, что от него осталась одна тень, если бы такое сравнение не было оскорбительным для тени жизнерадостного и гордого Баушана. После того как Баушана несколько раз хорошенько вымыли в корыте, больничной запах, которым он был пропитан, почти исчез, хотя еще долгое время от него вдруг начинало тянуть карболкой, но если для нас, людей, ванна является как бы символическим актом и действует на душевное состояние, то у бедняги Баушана за телесным очищением бодрости духа не последовало. В первый же день я взял его с собой в наши угодья, но он еле плелся за мной, по-дурацки свесив на сторону язык, и фазаны еще долго после его возвращения наслаждались привольной жизнью. Дома он целыми днями лежал неподвижно, остекленевшим взглядом уставившись куда-то вверх, как тогда в клетке, вялый и расслабленный; теперь уж не он выманивал меня погулять, а мне самому приходилось идти за ним к конуре и чуть не силой тащить его на прогулку. Даже неразборчивая жадность, с которой он глотал пищу, и та напоминала об унижительной поре его детства. Тем отраднее было видеть, как он мало-помалу приходил в себя; как при каждой новой встрече в нем пробуждалась прежняя простодушно-веселая живость; как в одно прекрасное утро он не притащился нехотя и угрюмо на мой свист, а налетел на меня, словно вихрь, прыгнул передними лапами мне на грудь и опять стал хватать зубами воздух перед самым моим носом; как на прогулках к нему вернулось гордое сознание своей силы и красоты, и я опять мог любоваться его мужественной грациозной стойкой и стремительными прыжками с подтянутыми лапами на шевелящихся в высокой траве зверюшек... Он забыл.

Тяжелый и бессмысленный на взгляд Баушана инцидент канул в прошлое, по сути дела не разрешенный и не исчерпанный, ибо объяснение между нами было невозможно, но время все сгладило, как бывает и между людьми, и мы продолжали

жить бок о бок, словно ничего не произошло, меж тем как невысказанное все больше и больше забывалось... Еще с месяц Баушан иногда появлялся с окровавленным носом, но случалось это все реже, а затем кровотечение и вовсе прекратилось, так что было уже совершенно безразлично, вызвано ли оно эпистаксией или гематемезией...

Ну вот, не собирался рассказывать о лечебнице, а рассказал! Да простит мне читатель это пространное отступление и вернется со мной к охотничьим удовольствиям, на которых мы остановились. Вы слышали когда-нибудь плаксивый вой, с каким собака, напрягая все свои силы, гонит улепетывающего зайца, вой, в котором мешаются ярость и блаженство, нетерпение и иступленное отчаяние? Сколько раз я слышал, как Баушан вот именно так подвывал! Это упоение страсти, это сама страсть завывает по лесу, и всякий раз, когда ее дикий вопль издали или откуда-то рядом достигает моего слуха, я радуюсь и пугаюсь, по спине у меня невольно пробегают мурашки; довольный, что Баушан сегодня свое наворачтает, я спешу вперед или куда-нибудь в сторону, чтобы выйти на гон, и когда заяц, а за ним Баушан проносятся мимо, стою как зачарованный и с блуждающей по лицу взволнованной улыбкой гляжу на них, хотя знаю заранее, что ровно ничего из этого не выйдет.

Лукавый или трусливый заяц! Прижав уши и вытянув голову, он бежит что есть духу, длинными прыжками удирая от истошно воющего Баушана, так что в воздухе лишь мелькают его длинные ноги да желто-белый зад.

А ведь в глубине своей боязливой, привыкшей давать стрекача души заяц бы должен знать, что никакой серьезной опасности ему не грозит и он, конечно, благополучно удерет, как удирали его братья и сестры, да и сам он, верно, не раз уже удирал. Никогда в жизни Баушан еще не поймал ни одного его сородича и никогда не поймает — это совершенно исключено.

Недаром пословица говорит: косому не поздоровится, когда свора гонится, а один на один — косой господин. Одной собаке его не изловить, хотя бы она и бегала быстрее Баушана и была намного выносливее его, потому что заяц умеет делать «скидку», а Баушан этого не умеет, что в конечном счете и решает дело. Скидка — это надежное оружие и способность рожденного спасаться бегством, это средство, к которому он может прибегнуть всегда, но держит до поры до времени в запасе, чтобы в решающую минуту применить и оставить Баушана с носом, когда тот уже торжествует победу.

Вот они выскакивают из кустов, наискось пересекают тропинку впереди меня и мчатся к реке, заяц молча, затаив в душе унаследованную от отцов и дедов уловку, а Баушан пронзительно и отчаянно завывая на высоких нотах. «Ну чего ты воешь? — думаю я. — Ведь запыхаешься, задохнешься, а тебе надо беречь силы, если ты хочешь его поймать!» Я думаю так, потому что мысленно принимаю участие в охоте, потому что стою на стороне Баушана, потому что страсть его захватила и меня, и я от всего сердца желаю ему успеха, даже рискуя тем, что он на моих глазах разорвет зайца. Как он бежит! И что может быть прекраснее живого существа, напрягающего до предела все свои силы и способности! Он бежит лучше зайца, мускулатура у него сильнее, и прежде чем они скрылись из виду, расстояние между ними уже заметно сократилось. Я тоже почти бегом продираюсь через кустарник напрямик к реке и как раз вовремя попадаю на щебенную дорогу, где вижу приближающийся справа гон в самый захватывающий момент охоты. Баушан вот-вот настигнет зайца — теперь он бежит молча, стиснув зубы, запах косого сводит его с ума. «Наддай, Баушанчик, наддай!» — мысленно восклицаю я и еле сдерживаюсь, чтобы не крикнуть: «Не промахнись только, не забудь про скидку!» То, чего я боялся, произошло.

Когда Баушан «наддает», заяц коротким неуловимым движением делает бросок под прямым углом вправо, и мой охотник, беспомощно верезжа и стараясь затормозить, проскакивает мимо, проскакивает, расшвыривая щебень и подымая облако

пыли, и пока он с душевной болью и жалобным визгом преодолевает силу инерции, пока поворачивает и бросается в новом направлении, заяц обычно успевает далеко уйти или вообще скрыться из глаз, потому что где тут было Баушану усмотреть, куда повернул косою, когда он и на ногах-то едва удержался.

«Все это очень хорошо, но совершенно бесполезно! — думаю я, прислушиваясь к дикому завыванию удаляющейся через парк в противоположном направлении охоты. — Тут нужна не одна собака, а целая свора, штук пять или шесть. Одни бросились бы наперерез, другие наскочили бы с боков, преградили бы ему путь, вцепились в загривок...» И возбужденное воображение рисует мне свору гончих с высунутыми красными языками, которые набрасываются на зайца.

Все это мне представляется лишь в пылу охотничьего азарта, ибо что плохого сделал мне заяц, чтобы желать ему такой страшной кончины?

Пусть Баушан мне ближе, пусть я ему сочувствую и желаю успеха, но ведь и заяц тоже живая тварь, и если он и обманул моего охотника, то не со зла, а лишь потому, что ему еще хочется поглотить молодые побеги в лесу и наплодить зайчат. «Конечно, дело обстояло бы иначе, если бы вот эта штука, — продолжаю я тем не менее думать, разглядывая свою тросточку, — если бы эта штука была не безобидной палкой, а вещицей более серьезной конструкции, действующей на приличном расстоянии, тогда я мог бы помочь своему честному Баушану остановить зайца, и косою, перекувырнувшись разок в воздухе, остался бы на месте. Тут уж не понадобилось бы никакой своры, а Баушан сделал бы свое дело уже тем, что поднял зайца». В действительности же картина получается как раз обратная: Баушан частенько летит кувырком, когда пытается одолеть проклятую заячью скидку, что, впрочем, иногда случается и с зайцем, но для косою это пустяк, дело привычное и, очевидно, безболезненное, а для Баушана — тяжелая травма, и чего доброго, он так когда-нибудь свернет себе шею.

Бывает, что охота кончается, едва начавшись: заяц на первом же кругу благополучно ныряет в кусты и залегает там или же начинает так петлять и делать скидки, что сбивает охотника со следу, тогда Баушан, в полной растерянности, начинает бестолково метаться, а я, обуреваемый кровожадными инстинктами, тщетно кричу ему вслед и тычу тростью в сторону, куда ушел заяц. Но бывает, что гон затягивается надолго и идет по всему лесу, так что залихватистый, страстно подвывающий голос Баушана раздаётся, как охотничий рог, то откуда-то издали, то совсем рядом, и я, не ожидая его, иду потихоньку своей дорогой. И, Боже мой, в каком он наконец является виде! Вся морда в пене, бока запали, ребра ходуном ходят, длинный язык вывалился из широко оскаленной пасти, отчего его осовелые глаза становятся помонгольски раскосыми, и дышит он при этом, как паровоз. «Ляг отдохни, Баушан, не то тебя еще хватит удар!» — говорю я и останавливаюсь, чтобы дать ему время отдышаться. Особенно боюсь я за него зимой, в мороз, когда он жадно вбирает в свое разгоряченное нутро ледяной воздух, выпуская его белым паром, или захватывает полную пасть снега и глотает его, чтобы утолить жажду. Но в то время как он лежит и снизу вверх смотрит на меня смущенными глазами, то и дело слизывая слюну, я не могу устоять, перед искушением подразнить его немножко, посмеяться над неизменной бесплодностью всех его усилий. «Ну где же заяц, Баушан? — спрашиваю я его. — Что ж ты не принес мне зайчика?»

А он бьет обрубок хвоста по земле и, прислушиваясь к моему голосу, на мгновение перестает лихорадочно работать боками и сконфуженно облизывается; бедняга не подозревает, что насмешка моя только ширма, за которой я скрываю от него, да и от самого себя, чувство стыда и укоры совести — ведь я опять ничем ему не помог и не остановил косою, как это сделал бы всякий другой порядочный хозяин. Он этого не подозревает, и потому я могу спокойно подшучивать над ним и делать вид, будто это он что-то прошляпил и упустил...

Любопытные происшествия случаются иной раз у нас на охоте. Никогда не забуду, как заяц однажды сам дался мне в руки... Случилось это на узком глинистом «променаде» над рекой. Услышав, что Баушан гонит зайца, я вышел из лесу к прибрежной зоне и, продравшись через колючки чертополоха, которым порос «главный проспект», спрыгнул с травянистого откоса на дорожку в ту самую минуту, когда со стороны домика перевозчика, в направлении которого я смотрел, показался заяц, а за ним, шагах в пятнадцати, Баушан; русак мчался длинными скачками по самой середине дорожки прямо на меня. Первым моим побуждением, в котором сказались злонамеренность охотника, было воспользоваться случаем, преградить косому дорогу и постараться повернуть его назад, прямо в пасть плаксиво подвывающего Баушана. Я замер и, затаив дыхание, стал поджидать быстро приближающегося зайца; в азарте я даже не заметил, что кручу в руке тросточку. Я знал, что у зайцев очень слабое зрение и только слух и обоняние предупреждают их об опасности. Рассчитывая на это, я решил, что, если буду стоять, неподвижно, заяц, пожалуй, примет меня за дерево; эту его роковую ошибку, — а мне очень хотелось, чтобы он ошибся, — я и собирался использовать, не очень-то представляя ее вероятные последствия. Действительно ли заяц на какой-то миг ошибся — сказать трудно. Кажется, он вообще увидел меня лишь в самую последнюю секунду, и то, что он сделал, было до такой степени неожиданно, что это разом опрокинуло все мои планы и расчеты и мгновенно изменило мое настроение. Не знаю, обезумел ли он со страха, — во всяком случае, он прыгнул на меня, как собачонка, цепляясь передними лапками за пальто, встал во весь рост и пытался запрятать голову в мои колени, колени страшного охотника! Раскинув руки и подавшись назад, я смотрел вниз на зайца, который, а свою очередь, смотрел вверх на меня. Это длилось всего какую-нибудь секунду или даже долю секунды, но я видел его необыкновенно ясно, видел его длинные уши, одно торчало кверху, а другое свисало вниз, видел большие, блестящие близорукие глаза навывкат, его рассеченную губу и длинные волоски усов, белую грудь и маленькие лапки, чувствовал, или мне казалось, что чувствую, биение его загнанного сердечка — и до чего же странно было мне видеть его вблизи, маленького демона здешних мест, живое трепещущее сердце знакомых пейзажей, вечно ускользающее существо, которое я наблюдал среди любимых просторов и далее лишь в те краткие мгновенья, когда оно, забавно подкидывая зад, удирало во все лопатки; а теперь это маленькое существо, в минуту грозной опасности, жалось ко мне, как бы обнимая мои колени, колени человека, — но, как представлялось мне, не колени хозяина Баушана, а того, кто господин и над зайцами, кто и его и Баушана господин. Как я уже говорил, это длилось какую-то долю секунды, потом заяц от меня отпрянул, упал на свои короткие передние лапки и стрелой взлетел на правый откос, а к тому месту, где я стоял, примчался Баушан, примчался с воем, украшенным всеми фиоритурами страсти, который неожиданно и резко оборвался. Ибо господин зайца преднамеренным и точным ударом трости сразу охладил его пыл, и Баушан, визжа, кубарем полетел вниз, чуть не до половины левого откоса, но потом, прихрамывая на ушибленную заднюю ногу, все-таки опять на него взобрался и только тогда, с большим опозданием, пустился вдогонку за зайцем, а того уже давно и след простыл...

Ну и, конечно, остается еще охота на водоплавающую птицу, которой я тоже хочу посвятить несколько строк. Время ее — зима да еще холодная ранняя весна, до отлета птиц на озера; в эту пору они, повинувшись требованию желудка, волей-неволей вынуждены держаться поблизости от города; охота эта менее увлекательна, чем травля зайцев, но тоже имеет свою прелесть и для охотника, и для собаки или, вернее говоря, для «охотника» и его хозяина, — последнего она привлекает главным образом дорогой его сердцу и животворной близостью воды и еще тем, что, наблюдая образ жизни этих

водяных птиц, рассеиваешься и отвлекаешься, особенно если выходишь из собственного круга чувств и представлений и пытаешься поставить себя на их место.

Нрав у уток более мирный, положительный и добродушный, нежели у чаек. Они, должно быть, сыты, их меньше тревожат заботы о хлебе насущном, поскольку все, что им нужно для пропитания, постоянно имеется в избытке, и стол для них, так сказать, всегда накрыт. Едят они, как я вижу, почти что все: червей, улиток, букашек, а то и просто тину, и поэтому могут себе позволить, расположившись на камнях, погреться в лучах солнышка; соснуть четверть часика, засунув голову под крыло; заняться туалетом, тщательно смазывая перышки так, чтобы они не намокали, а вода скатывалась с них капельками, или же, единственно удовольствия ради, отправиться на прогулку по реке, где, подняв треугольную гузку, они кружатся и нежатся на волнах, самодовольно поводя плечами.

В натуре чаек есть что-то дикое, грубое, уныло-однообразное и нагоняющее тоску. Голод и алчность слышатся в хриплом крике, с которым они день-деньской кружат стаями над водопадом и там, где в реку из труб сбрасываются коричневые сточные воды. Ибо рыбная ловля, которой иные из них промышляют, занятие не очень-то прибыльное, когда хотят набить себе желудки сотни высматривающих добычу голодных птиц, так что чаще всего чайкам приходится довольствоваться отвратительными отбросами, которые они подхватывают на лету у водостоков и уносят в своих кривых клювах куда-нибудь в сторону. Сидеть на берегу они не любят. Но, как только спадает вода, они теснятся на выступающих из реки камнях, покрывая их сплошной белой массой, напоминающей птичьих базары на скалах и островах северных морей, где гнездятся гаги, и до чего же красиво, когда они, испугавшись Баушана, который с берега грозно лает на них через протоку, вдруг с криком снимаются и взлетают в воздух. Но пугаются они совершенно напрасно, никакая опасность им не угрожает. Не говоря уже о врожденной водобоязни Баушана, он весьма благоразумно и с полным основанием остерегается быстрого течения, с которым ему, конечно, не совладать и которое неизбежно унесло бы его Бог знает куда, — чего доброго, до самого Дуная, в чьи голубые воды он, однако, попал бы в сильно попорченном виде, судя по вздувшимся трупам кошек, что проносятся мимо нас, направляясь в те края. Никогда он не входит в реку дальше чуть покрытых водой прибрежных камней, и как бы его ни подстегивала охотничья страсть, как бы он ни прикидывался, что хочет броситься в волны и вот-вот бросится, можно вполне положиться на его рассудительность, которая при всем азарте никогда его не покидает, так что вся его пантомима с разбегами, все его чрезвычайные приготовления к решительному прыжку в воду, — не более как пустые угрозы, продиктованные к тому же не страстью, а холодным расчетом, цель которого запугать лапчатонюгих.

А чайки, как видно, слишком глупы и трусливы, чтобы смеяться над его ухищрениями. Баушану до них не добраться, но он лает, и его далеко разносящийся по воде громовой голос докатывается до них, а ведь и голос нечто вещественное, мощные звуки приводят чаек в смятение, они не могут долго выдержать такого натиска. Сперва они, правда, стараются не обращать внимания, продолжают по-прежнему сидеть, но вот вся чайчья толпа начинает беспокойно колыхаться, птицы поворачивают головы, то одна, то другая на всякий случай хлопает крыльями, и вдруг, дрогнув, все разом взмывают ввысь белым облаком, из которого слышатся жалобный вопль и горькие сетования, а Баушан прыгает то туда, то сюда по камням, стараясь разбить стаю и не дать ей спуститься: движение — вот что привлекает его, он ни за что не позволит чайкам сесть, пусть носятся над рекой, а он будет за ними гоняться.

Баушан прочесывает берег, издали чуя дичь, потому что всюду с обидным спокойствием, засунув голову под крыло, сидят утки, и всюду, куда бы он ни ткнулся, они

взлетают прямо из-под его носа, так что и вправду получается как бы веселая облава — взлетают и сразу же плюхаются на воду, где в полной безопасности качаются и кружатся на волнах или же, вытянув шею, летят от него, и Баушан, носясь галопом по берегу, честно меряет силу своих ног с силой их крыльев.

Только бы они летали, только бы доставили ему удовольствие, состязаясь с ними, погонять взад и вперед вдоль берега, о большем он не просит и не мечтает, а утки, как видно, знают его слабость и при случае пользуются ею. Как-то весной, когда птицы уже все улетели на озера, я заметил в тинистой лужице, оставшейся после паводка в ямке высохшего русла, утку с утятами; должно быть, птенцы еще не научились летать, и она из-за них задержалась. Там-то Баушан неожиданно и наткнулся на выводок, — я наблюдал всю сценку с верхней дороги. Он прыгнул в лужу, стал с лаем и дикими телодвижениями кружиться в ней и страшно переполошил все утиное семейство. Никого он, разумеется, не тронул, но нагнал такого страха, что птенцы, трепыхая коротенькими обрубками крылышек, бросились врассыпную, а утка встала на защиту своего потомства со слепым героизмом матери, которая может ринуться на противника в десять раз более сильного, чем она, и своей безумной, переходящей всякие границы храбростью не только его смутить, но подчас даже и обратить в бегство.

Взъерошив перья и безобразно раскинув клюв, она подлетела к самой морде Баушана, героически возобновляя атаку, снова и снова с шипением кидалась на него и видом своей устрашающей решимости в самом деле привела противника в замешательство, хотя и не заставила его окончательно ретироваться, ибо Баушан, отступив, опять с лаем наскакивал на нее. Тогда утка переменила тактику и взялась за ум, поскольку героизм не оправдал себя. Вероятно, она знала Баушана, знала с давних пор его слабости и ребяческие желания. Она бросила своих малышей — не на самом деле, конечно, — и пустилась на хитрость: поднялась и полетела над рекой, «преследуемая» Баушаном, — так, по крайней мере, представлялось ему, в действительности же утка, пользуясь страстью нашего охотника, водила его за нос: полетела сначала по течению, потом против него, увлекая скачущего с ней наперегонки пса все дальше и дальше от лужицы с утятами, так что, продолжая свой путь, я вскоре потерял из виду и утку и собаку. А немного погодя мой простофиля явился, запыхавшийся и вконец запаренный.

Но когда мы проходили мимо лужицы на обратном пути, там уже никого не было...

Так поступила эта мать, и Баушан еще сказал ей спасибо. Но он ненавидит уток, которые, погрязнув в мещанском Своем благополучии, не желают служить ему дичью и при его приближении просто-напросто соскальзывают с камней в воду и с обидным безразличием качаются там перед самым носом Баушана, нисколько не потрясенные его громовым голосом и, в отличие от слабонервных чаек, не обманутые его пантомимой разбегов. Мы стоим рядышком на прибрежных камнях, Баушан и я, а в двух шагах от нас с наглой самоуверенностью, жеманно пригнув к грудке клюв, покачивается на волнах утка — образец благоразумия и степенности, на которую нимало не действует взбешенный голос Баушана. Она гребет против течения и потому почти стоит на месте, но все-таки ее понемножку относит назад, а примерно в метре от нее порог — эдакий хорошенький пенящийся водопадик, к которому она повернулась тщеславно поднятой гузкой. Баушан лает, упершись передними лапами в камни, а я, вторя ему, лаю про себя, потому что в какой-то мере разделяю его ненависть к уткам с их наглым здравомыслием и желаю им зла. «Хоть бы заслушалась, как мы лаем, — думаю я, — да угодила бы прямо в водоворот, посмотрели бы мы, как ты там закрутишься». Но и эта мстительная надежда не сбывается, потому что в тот самый миг, когда утка достигает края водопада, она взмахивает крыльями, пролетает несколько метров и снова, негодница, садится на воду.

Когда я думаю о том, с какой досадой мы в таких случаях смотрим на утку, мне вспоминается одно происшествие, о котором я хочу напоследок рассказать. С одной стороны, оно принесло мне и моему спутнику как бы некоторое удовлетворение, а с другой — немало огорчений, беспокойства и тревоги и даже явилось причиной временной размолвки между мною и Баушаном; знай я наперед, как все сложится, я бы уж сумел обойти это злополучное место.

Было это далеко от дома, на берегу реки, за домиком перевозчика, там, где прибрежная чаща почти вплотную подступает к верхней, пешеходной дорожке, по которой мы и продвигались вперед, — я неторопливым шагом, а Баушан, чуть впереди меня, своей ленивой рысцой, как всегда немного бочком. Он успел уже погоняться за зайцем или, вернее, дал зайцу себя погонять, поднял на крыло двух или трех фазанов и теперь, не желая обижать хозяина, держался поблизости от меня. Над рекой, вытянув шеи, клином летела стайка уток, но летели они довольно высоко и ближе к противоположному берегу, так что как дичь не представляли для нас ни малейшего интереса. Они летели в том же направлении, в каком мы шли, даже не замечая нас, да и мы только изредка бросали на них нарочито равнодушный взгляд.

Тут, на противоположном, тоже довольно крутом берегу, из кустов вдруг вышел человек и сразу принял столь необычную позу, что мы оба, и Баушан и я, как по команде остановились и, сделав пол-оборота налево, стали за ним наблюдать.

Это был рослый мужчина несколько грубоватой наружности с отвислыми усами, в обмотках и в сдвинутой набекрень фетровой шляпе, коротких пузатых штанах из жесткого в рубчик бархата, именуемого, кажется, манчестером, и такой же куртке, поверх которой у него перекрещивалось множество ремней: пояс, лямки от рюкзака и ремень висящего за плечом ружья. Вернее сказать, висевшего, потому что, едва он показался из кустов, как тотчас же снял его и, приложившись щекой к прикладу, направил ствол к небу. Одну ногу в обмотке он выставил вперед, ружье держал на вытянутой ладони согнутой под прямым углом левой руки, локоть нажимавшей на гашетку правой оттопырил в сторону и, целясь, гордо подставлял небесам свою скошенную физиономию. Во всем его облике было что-то донельзя оперное, когда он так вот стоял над прибрежной осыпью, четко вырисовываясь на фоне живой декорации кустов, реки и неба. Но нам недолго пришлось взирать на незнакомца с почтительным и пристальным вниманием; почти тотчас с противоположного берега донесся сухой хлопок выстрела, — я ждал его с внутренним трепетом и потому вздрогнул, — мы увидели слабую при дневном свете вспышку, затем облачко дыма, и в то время как мужчина, сделав чисто оперный выпад, шагнул вперед с обращенным к небу лицом и выпяченной грудью, держа за ремень ружья в правой руке, в вышине, куда смотрели и он и мы, разыгралась коротенькая сценка смятения и бегства: утиный порядок расстроился, крылья, как плохо натянутые паруса на ветру, отчаянно захлопали, была сделана попытка спланировать, и вдруг подбитая утка, кувыркнувшись в воздухе, камнем полетела вниз и шлепнулась в воду неподалеку от противоположного берега.

Это была лишь первая половина представления. Но тут я должен прервать свой рассказ и обратиться к Баушану. Чтобы изобразить его состояние в эту минуту, сами собой напрашиваются штампованные сравнения, ходовая монета, которую можно пустить в оборот во всех случаях жизни, — я мог бы, например, сказать: «Он стоял, будто громом пораженный». Только мне это не по душе и не по вкусу. Громкие слова, стершиеся от частого употребления, не годятся для изображения из ряда вон выходящего события, скорее здесь нужно простое слово поднять до вершины его значения. Я скажу только, что Баушан, услышав выстрел и увидев сопровождавшие этот выстрел обстоятельства, а также все, что за сим последовало, опешил, как случалось с ним уже не раз, когда он сталкивался с чем-то необычным, но теперь это

было усилено во сто крат. Он так опешил, что его отшвырнуло назад и зашатало из стороны в сторону, так опешил, что голова у него сперва дернулась к груди, а потом, когда его качнуло вперед, ее чуть не вырвало из плечей, так опешил, что, казалось, из него рвется крик: «Что? Как? Что это было? Стой, что за чортовщина? Что же это такое?!» Он смотрел и прислушивался к чему-то внутри себя с тревогой, которая вызывается высшей степенью удивления, а оказывается, там, внутри его, как ни ново было все случившееся, это уже жило, жило с самого рождения Баушана. Когда его отшвырнуло и зашатало из стороны в сторону, чуть не повернув вокруг собственной оси, он, как бы оглядываясь сам на себя, спрашивал: «Что я? Как я? Я ли это?» А когда утка упала в воду, Баушан рванулся вперед, к самому краю откоса, словно собирался сбежать вниз и кинуться в воду. Но, вспомнив о течении, он сдержал свой порыв, устыдился и снова стал наблюдать.

Я с беспокойством следил за ним. Когда утка упала, я счел, что мы видели достаточно, и предложил идти дальше. Но Баушан сидел, насторожив уши и повернув морду к противоположному берегу, и в ответ на мои слова: «Пошли, Баушан?» — только мельком посмотрел на меня и тут же отвернулся, что, видимо, означало нечто вроде нашего: «Да оставьте же меня в покое!» Что ж, пришлось смириться, я скрестил ноги, оперся на трость и тоже стал смотреть, что будет дальше.

А утку, одну из тех уток, что так часто с наглой самоуверенностью качались перед самым нашим носом, теперь крутило в воде, как щепку, так что и разобрать было нельзя, где у нее голова, а где гузка. За городом река уже не такая порожистая и бурная, здесь она поспокойнее. Однако течение сразу подхватило сбитую птицу, закружило ее и понесло, и если мужчина в обмотках стрелял и убивал не для пустой забавы, а преследовал и практическую цель, то ему надо было торопиться. Он и в самом деле не стал терять ни секунды времени, все произошло с величайшей быстротой. Едва утка коснулась воды, как он, прыгая, спотыкаясь и чуть не падая, ринулся с откоса. Ружье он держал в вытянутой руке, и опять было что-то очень романтическое и оперное в том, как он, подобно разбойнику или отважному контрабандисту из мелодрамы, прыгая с камня на камень, спускался по осыпи, напоминающей декорацию. Он спускался наискось, левее того места, где сначала стоял, чтобы успеть перехватить увлекаемую течением утку. Войдя в воду по щиколотку, он, ухватившись за конец ствола, низко согнулся и старался дотянуться до нее прикладом, это ему удалось: он поддев ее, не без труда, осторожно, стал подталкивать к прибрежным камням и наконец вытащил на берег.

Итак, дело было сделано, и мужчина облегченно вздохнул. Он положил ружье на берег возле себя, скинул со спины рюкзак, запрятал в него добычу, снова пристегнул лямки и с этой приятной ношей, опираясь на ружье, как на палку, стал бодро подыматься по осыпи к кустам.

«Ну, этот добыл себе жаркое на завтра», — подумал я с одобрением, к которому, однако, примешивалась доля неприязни.

— Вставай, Баушан, пойдем и мы, больше ничего не будет.

Но, встав и повернувшись разок вокруг собственной оси, Баушан снова уселся и стал смотреть вслед мужчине в обмотках, даже когда тот уже скрылся за кулисами кустов. Я и не подумал повторить приглашение. Баушан знает, где мы живем, и, если ему угодно, пусть хоть до вечера торчит здесь и пялит глаза на пустой берег. До дома не так уж близко, и я, не мешкая, двинулся в обратный путь. Он пошел за мной.

Весь тягостный путь к дому Баушан держался поблизости от меня и не охотился. Но вместо того чтобы бежать бочком впереди, как он это обычно делает, когда не настроен рыскать по кустам и подымать дичь, Баушан плелся сзади, и, как я заметил, случайно обернувшись, строил самую кислую рожу. Но мне было все равно, не

хватало еще, чтобы я из-за этого портил себе кровь. Возмутило меня другое: каждые тридцать или сорок шагов он зевал. Зевал отчаянно, с визгом, раздирая пасть, и с тем бессовестным, непристойно скучающим видом, которым он как бы говорит:

«Хороший же у меня хозяин! Разве это хозяин? Дрянь, а не хозяин!» — и если оскорбительное взвизгивание, которым он сопровождал каждый зевок, всегда действовало мне на нервы, то на сей раз оно грозило навеки разрушить нашу дружбу.

— Пошел! Убирайся от меня! — сказал я. — Ступай к этому господину с пищалью и ходи за ним по пятам, у него, видно, нет собаки, может быть, ты и пригодишься ему для его пакостных дел. Хоть он носит дерюгу в рубник и на приличного господина не похож, но, по-твоему, он настоящий господин и самый подходящий для тебя хозяин; что ж, мой тебе от души совет — переходи к нему, раз уж ко всем твоим занозам он тебе еще одну в сердце вогнал. (Вот как далеко я зашел!) Лучше даже не спрашивать, имеется ли у этого молодчика охотничий билет, вот попадетесь когда-нибудь — и достанется вам на орехи, но уж это ваше дело, я тебе от души советовал, а там как знаешь. А ты, горе-охотник? Сколько раз разрешал я тебе гонять зайцев, принес ли ты мне хоть одного на обед? Значит, я виноват, что ты не умеешь делать скидки и проезжаешься носом по земле, когда надо проявить ловкость и быстроту! И фазана ты ни разу не принес; как бы он пригодился в нынешние трудные времена! А теперь, извольте видеть, он зевает! Ступай, говорят тебе. Ступай к своему господину в обмотках, посмотришь, такой ли он человек, чтобы чесать тебе шею или — тем более — тебя смешить; по-моему, он и сам-то толком смеяться не умеет и разве только грубо гогочет! А если ты полагаешь, что он отведет тебя для клинического наблюдения в университет, когда тебе вздумается чихать кровью, или что у такого хозяина тебя найдут несколько нервным и малокровным, то сделай одолжение, ступай к нему, но как бы тебе не ошибиться. Вряд ли, ты дождешься от него особой любви и внимания! Есть признаки и различия, на которые такие вот господа с ружьями имеют особый нюх и глаз: природное достоинство или изъяны, чтобы сделать мои намеки более понятными, или, чтобы сказать еще яснее, — щекотливые вопросы родословной и предков; не всякий станет их обходить из сочувствия и гуманности, и, когда при первой же стычке он попрекнет тебя, твоей бородкой, этот великолепный стрелок, и назовет всякими неблагоприятными именами, тогда ты вспомнишь меня и то, что я тебе говорил...

Все это я по пути домой не без сарказма выложил трусившему за мной Баушану, и если, не желая казаться чересчур экзальтированным, я говорил это мысленно, а не вслух, то все же убежден, что он прекрасно понял, что именно я имел в виду, и, во всяком случае, усвоил весь ход моих рассуждений. Короче говоря, это был полный разрыв, и, дойдя до дома, я нарочно быстро захлопнул за собой калитку, так что он не успел прошмыгнуть в нее и вынужден был подпрыгнуть и перелезть через забор. Я слышал, как он жалобно пискнул, зацепившись животом, но даже не обернулся и, язвительно пожимая плечами, вошел в дом.

Но это было давно, более полугода назад, и тут повторилось то же, что и после университетской клиники: время все сгладило и сровняло, и на этой наносной почве, почве всякого существования, мы и продолжаем жить, как жили. Несколько дней Баушан, правда, ходил задумчивый и скучный, но уже давно он опять наслаждается охотой на мышей, фазанов, зайцев и водоплавающую птицу и, едва вернувшись домой, уже с нетерпением ждет следующего нашего выхода. Поднявшись на крыльцо, я еще раз оборачиваюсь к нему, и по этому знаку он в два прыжка взлетает на ступеньки и, опираясь передними лапами в дверь, тянется ко мне, чтобы я на прощанье похлопал его по плечу. «Завтра опять пойдем, Баушан, — говорю я ему, — если только не придется ехать в город», — и спешу в дом, чтобы стащить тяжелые башмаки на гвоздях, потому что суп уже давно на столе.